

ЛЕНИНГРАДСКИЙ ОРДЕНА ЛЕНИНА
И ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ имени А. А. ЖДАНОВА

В. Б. Касевич

МОРФОНОЛОГИЯ

ЛЕНИНГРАД
ИЗДАТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
1986

*Печатается по постановлению
Редакционно-издательского совета
Ленинградского университета*

В монографии впервые представлен анализ всех важнейших проблем морфонологии — новой дисциплины, изучающей связь грамматики и фонетики, — с позиций школы акад. Л. В. Щербы. Изучение построено на материале основных европейских, а также ряда восточных языков, особое внимание уделяется сложным вопросам русской морфонологии и сравнительной характеристике языков с морфонологической точки зрения.

Предназначена для русистов, востоковедов и специалистов по общему языкознанию.

Рецензенты:

проф. *Л. А. Вербницкая* (Лен. гос. ун-т),
ст. науч. сотр. *Д. М. Насилов* (ЛЮ ИЯ АН СССР)

ИБ № 2047

Вадим Борисович Касевич

Морфонология

Редактор *Л. А. Карпова*

Художественный редактор *А. Г. Голубев*

Обложка художника *В. Н. Тюлюкина*

Технический редактор *Л. А. Топорина*

Корректоры *Н. М. Каплинская, В. А. Латыгина*

Сдано в набор 30.01.86. Подписано в печать 16.04.86. М-26407. Формат 60×90¹/₁₆.
Бумага тип. № 2. Гарнитура литературная. Печать высокая. Усл. печ. л. 10.
Усл. кр.-отг. 10,25. Уч.-изд. л. 11,5. Тираж 1991 экз. Заказ № 96. Цена 1 р. 70 к.
Издательство ЛГУ им. А. А. Жданова. 199164, Ленинград, Университетская наб., 7/9.
Типография Изд-ва ЛГУ им. А. А. Жданова. 199164, Ленинград, Университетская наб., 7/9.

К $\frac{4602000000-104}{076(02)-86}$ 107-86

© Издательство Ленинградского университета, 1986 г.

ВВЕДЕНИЕ

О МЕСТЕ МОРФОНОЛОГИИ В ЛИНГВИСТИЧЕСКОМ ОПИСАНИИ

Морфонология нередко характеризуется как молодая дисциплина, делающая, в сущности, первые шаги [Славянское и балканское языкознание 1981: 3]. Подобное мнение не лишено оснований. Если мы обратимся к русской морфонологии, то увидим, что после работы Н. С. Трубецкого [Troubetzkoу 1934] первое монографическое исследование на эту тему появилось лишь в 1973 г. [Чурганова 1973], а еще через 10 лет вышла в свет монография, посвященная морфонологии русского глагола [Ильина 1980]. К этому надо добавить, конечно, освещение морфонелогических проблем в двух последних академических грамматиках русского языка [ГСРЛЯ; РГ], но одновременно придется отметить, что названные работы последних десятилетий довольно мало соприкасаются друг с другом (и даже не всегда содержат ссылки друг на друга). Лишь совсем недавно была издана монография, трактующая общетеоретические проблемы морфонологии [Кубрякова, Панкрац 1983], но ориентирована она преимущественно на материал германских языков, а такой важный вопрос, как просодическая морфонология (равно как и ряд других), в ней вообще не затронут. В зарубежной лингвистике морфонологическая проблематика представлена значительно большим числом работ, но в них, согласно с традициями генеративизма, не разграничивается обычно рассмотрение собственно фонологии и морфонологии.

Вместе с тем сфера морфонологии отнюдь не нова для лингвистики. Достаточно сказать, что к числу традиционных лингвистических тем принадлежат такие, как чередования фонем, элизии, метатезы, а это наряду со многими другими — объект изучения морфонологии.

Морфонология занимает скромное место в лингвистических трудах, по-видимому, еще и потому, что эту область принято считать периферией языка, не идущей в сравнение по своей важности с фонологией, морфологией, словообразованием, синтаксисом, семантикой. Но это, вообще говоря, заблуждение. /3//4/ К ведению фонологии относятся характер фонологических единиц в системе и правила их функционирования безотносительно к морфемам, словам, предложениям; к ведению морфологии и синтаксиса — морфемы, слова, предложения в системе и правила их функционирования безотносительно к звуковому оформлению. Но исследование языка — это во многом изучение «соотношения определенных звучаний с определенными значениями» (Л. Блумфилд), а морфонология интересуется именно тем, как «ведут себя»

с точки зрения звучания значимые единицы. Не будет большой натяжкой сказать, что морфонология — это фонология в действии, это фонология значимых единиц, с одной стороны, и «озвученные» морфология, словообразование, синтаксис — с другой.

Взгляды на морфонологию, ее объект и задачи заметно различаются у разных авторов. Нет согласия даже в том, располагает ли морфонология собственными единицами, и если да, то какова их природа. Естественно, что разные подходы к морфонологической проблематике во многом зависят от фонологических и морфологических позиций соответствующих авторов: при любом понимании морфонологии определенные представления о том, какова природа фонологического и морфологического компонентов языка, должны приниматься в качестве исходных, а эти представления в разных лингвистических школах различаются. В отечественной литературе морфонологические исследования принадлежат почти исключительно сторонникам школы Р. И. Аванесова [Чурганова 1973] и Московской фонологической школы (МФС) [Ильина 1980]. Основные принципы морфонологии еще не получили систематического освещения с точки зрения школы Л. В. Щербы. Именно эта задача и поставлена в настоящей книге: предпринять анализ фундаментальных проблем морфонологии, наиболее спорных вопросов этого раздела языкознания с позиций фонологической и общелингвистической теории, основы которой заложены Л. В. Щербой. В работе продолжено изучение звуковой стороны языка в традициях «щербовской фонологии», собственно фонологические аспекты которого представлены в нашей предыдущей монографии [Касевич 1983b].

Поскольку, как сказано, к решению проблем морфонологии невозможно приступить, не имея достаточной ясности в области фонологии и морфологии, предварим морфонологический анализ кратким изложением исходных фонологических и морфологических позиций. Мы затронем лишь наиболее общие вопросы фонологии и морфологии, решение которых требуется в качестве предварительного условия для плодотворного изучения морфонологии. Целый ряд других вопросов, принадлежащих к тем же областям лингвистики, будет обсуждаться в морфонологических главах работы: они либо более конкретны, либо отнесены к соответствующим главам по композиционным соображениям.

/4//5/

ЭЛЕМЕНТЫ ФОНОЛОГИИ

Прежде всего мы исходим из существования относительно автономной системы фонем языка (в слоговых языках — системы силлабем и слоготем, см. [Касевич 1983b], а также ниже). Этот почти тривиальный тезис мы формулируем преимущественно потому, что в

порождающей фонологии, влиятельнейшем направлении современного языкознания, понятие системы фонем практически упразднено. Вместо этого изучаются фонологическое строение морфем в словаре (в идеале, считает порождающая фонология, в терминах универсальных дифференциальных признаков) и правила вывода их текстовых вариантов. Признавая законность изучения указанного аспекта, который будет предметом рассмотрения в основных главах и разделах нашей работы, мы не можем согласиться с тем, что данный аспект делает излишней фонологию как таковую. Не аргументируя детально нашу (вполне традиционную) точку зрения (см. [Касевич 1983b]), здесь отметим лишь, что уже материал исторического развития языков показывает относительную автономность системы фонем: фонологические изменения, как правило, объясняются соотношением внутрисистемных оппозиций между фонемами и их подклассами [Мартине 1960].

Как и вообще в изучении языка, при исследовании фонологии следует различать три основных подхода — с точки зрения: порождения речи (речепроизводства), когда описывается переход «смысл → текст»; восприятия речи, когда отражается переход «текст → смысл»; установления языковой системы, когда моделируется процесс «текст → система языка» [Касевич 1977].

В последнем случае лингвист «строит» (выясняет) языковую систему по данным текста. отождествляя минимальные фонологические сегменты (фонемы), фонолог сводит их в классы эквивалентности, и каждому такому классу ставит в соответствие абстрактный объект — фонему¹. Фонема как член системы может быть охарактеризована двояким образом. Во-первых — через набор своих дифференциальных, или различительных, признаков, который свойствен фонеме независимо от того, в каком контексте и, соответственно, варианте она выступает. Этот набор поддерживает тождество фонемы самой себе и противопоставляет ее любой другой фонеме той же системы. Во-вторых, каждой фонеме соответствует ее основной вариант — тот, который в наименьшей степени зависит от контекста. Именно независимость от контекста делает соответствующий вариант фонемы основным, а это позволяет утверждать, что в известном смысле фонемы представлены в системе своими основными вариантами [Щерба 1974]. /5//6/

Фонемы линейны, дифференциальные признаки нелинейны. Это означает, что для фонем в тексте и вообще в составе экспонентов знаков существенно отношение порядка, т. е. предшествования/следования. Дифференциальные признаки, в отличие от этого, с фонологической точки зрения реализуются одновременно, между ними нельзя усмотреть отношение порядка (но только лишь определенную системную

¹ Подробно см. об этом в нашей работе [Касевич 1983b: 33–67].

иерархичность (см. об этом [Касевич 1983b: 86 сл.]). Из положения о линейности фонем следует, что реальны фонологические границы между ними².

Фонемы не подвергаются нейтрализации. С нашей точки зрения, о нейтрализации можно говорить лишь применительно к аспекту восприятия речи. Нейтрализация — это такая ситуация, когда две языковые единицы (или более), различаясь в одних контекстах, в других перестают различаться вследствие того, что у них в силу разных причин совпадают означающие (экспоненты). Иначе говоря, нейтрализация — это контекстно обусловленная омонимия [Касевич 1977]. Например, омонимия *лук* ‘растение’ и *лук* ‘оружие’ постоянна с фонологической точки зрения (ее снимает только лексический контекст, ср. *На грядке растет зеленый лук* и *Всадник выстрелил из лука*); омонимия же как отношение между *луг* и *лук* действительна лишь для определенного фонологического контекста, в других же (*луг-а* ~ *лук-а*) этой омонимии нет.

Как можно видеть, условием нейтрализации является двусторонность нейтрализуемых единиц: у них должны совпасть означающие при сохраняющейся противопоставленности означаемых. Именно поэтому фонемы как единицы односторонние не могут утрачивать своей взаимной оппозитивности; любая фонема как особый член системы всегда остается тождественной самой себе, не может отождествляться с другой фонемой, переходить в другую фонему. Единственно возможное, с этой точки зрения, отношение — замена одной фонемы другой, т. е. фонологическое чередование.

С этим связано и то обстоятельство, что фонемы не могут совпадать своими вариантами. Каждая фонема обладает уникальным набором вариантов, или, иначе, классы вариантов разных фонем никогда не перекрещиваются.

В каждом языке существуют особые правила фонотактики. Правила подразделяются на фонемные и аллофонные. Первые определяют, какие фонемы могут сочетаться, а какие — нет (комбинаторные правила), какие существуют ограничения на употребление данных фонем в тех или иных фонологических контекстах (позиционные правила). Например, в русском языке глухие согласные фонемы, кроме /с/, /щ/, /х/, не могут употребляться перед звонкими (кроме /v/) — это правило, относящееся к комбинаторике фонем. Звонкие согласные не могут встречаться перед паузой, /o/ невозможно в безударном слоге — здесь мы имеем дело с правилами соотношения фонем и позиций, т. е. с позиционными правилами. Аллофонической тактикой определяется, какие варианты

² По существу, это просто одно и то же, так как наличие одной границы свидетельствует о присутствии двух фонем в данном порядке следования, двух границ — о сочетании трех фонем и т. д.; речь никогда не идет в границе как о точке физического пространства.

(аллофоны) используются в данных сочетаниях и позициях. Например, в сочетаниях с носовыми согласными русские гласные становятся назализованными, т. е. выступают в своих назализованных вариантах, безударные аллофоны гласных характеризуются сокращением длительности стационарного участка [Бондарко и др. 1966] и т. п.

Фонологические средства, как известно, делятся на сегментные и супraseгментные, или просодические. К первым принадлежат фонемы и слоги (в слоговых языках также интегранты слогов-силлабем — слоготемы). Ко вторым относятся ударение, тон, интонация. Речь предстает как сложно организованная иерархия ритмов, которые проявляются в периодическом (квазипериодическом?) чередовании «пиков» и «плато»; в качестве «пиков» фигурируют участки (обычно равные слогам), отличающиеся большей интенсивностью и/или длительностью, высотой основного тона голоса, специфическими аллофонами гласных (согласных). Каждый «пик» отвечает той или иной языковой единице. Различают словесное, синтагматическое и фразовое ударение³. Словесное ударение — просодическая характеристика слова, которая снабжает слово одним просодическим «пиком». Как известно, слово в этом случае не обязательно соответствует слову как особой единице с лексико-грамматической точки зрения, оно может состоять из «лексико-грамматического» слова с его клитиками, т. е. примыкающими к нему безударными словами. В русском языке это обычно слоговые предлоги, союзы, частицы, например, *был бы, на пол, да он* и т. п.

Если слово неодносложно, то остальные его слоги, безударные, составляют участки «плато», предшествующие и/или следующие за «пиком» — ударным слогом. Тем самым формируется акцентный контур слова. В акцентном языке, т. е. в языке, использующем ударение как особое фонологическое средство, существует набор акцентных контуров, практически конечный: имеются ограничения на длину слова в слогах и есть правила реализации ударных и безударных слогов в зависимости от положения ударного слога и длины слова. Пока трудно решить, можно ли говорить об особой парадигматической системе акцентных контуров. Однако несомненно, что информация об акцентном контуре обрабатывается отдельно от информации о сегментных единицах при восприятии речи [Касевич 1983b]. /71/8/

Тон есть просодическая характеристика слога, точнее слогоморфемы (см. с. 12–13). Если для текста на акцентном языке существует соответствие «сколько ударений — столько (фонетических) слов», то для текста на тональном — «сколько тонов — столько слогов (слогоморфем)». Слогов вне тона здесь нет.

³ Последний вид ударения ввиду неоднозначности термина «фраза», возможно, лучше было бы назвать «сентенциональным», т. е. «предложенческим».

Тоны, принадлежа к сфере просодики, имеют определенные точки соприкосновения также и с сегментными средствами языка. Замена тона, за очень редкими исключениями, приводит к замене или разрушению морфемы, и в этом тоны аналогичны сегментным единицам: подобно фонемам, они дифференцируют морфемы⁴.

Существуют правила тональной фонотактики. В большинстве тональных языков они имеют аллофонический характер: реализуются в качестве закономерностей взаимодействия тонов, когда тон выступает в соответствующем варианте в данном тональном окружении, а также как правила выбора варианта тона в зависимости от позиции (первый слог, последний слог и т. п.). В некоторых тональных языках есть и фонологические правила взаимодействия тонов, по которым тоны могут (не могут) сочетаться или характеризовать слог в некоторой позиции (см. с. 111–112).

Особые правила соотносят тон и тип слога. Так, во многих тональных языках в закрытых слогах происходит редукция возможного набора тонов, т. е., иначе говоря, закрытый слог выступает как слабая позиция с точки зрения реализации тональных противопоставлений.

Тональные языки принадлежат, как правило, к числу слоговых. Особый характер фонологии слоговых языков анализировался в наших предыдущих работах [Касевич 1983b; 1977]. Здесь мы отметим лишь центральные положения. Слоговые языки выделяются по двум основным признакам: в них не может быть неслоговых морфем и наложен запрет на ресиллабацию, т. е. на изменение места слоговых границ. В слоговых языках минимумом конституирования морфемы выступает не отдельный звук-фонема, а слог, возводящийся в силу этого в ранг особой фонологической единицы — силлабемы. Слог, однако, не составляет абсолютного фонологического минимума в языках слогового строя. На основании морфологизованных чередований и некоторых других свидетельств функционального порядка в составе слога (силлабемы) можно вычленил его интегранты (составляющие), обладающие меньшей в сравнении с силлабемой степенью автономности. Это — инициаль, т. е. начальный согласный, иногда /8/ /9/ начально-слоговое консонантное сочетание, и финаль, т. е. вся оставшаяся часть слога, взятая как целое. Инициали и финали мы называем слоготмемами (силлаботмемами)⁵.

⁴ Можно сказать, что дифференцирующая (дистинктивная) функция тонов выражена у последних даже ярче, чем у фонем: замена фонемы может иметь своим результатом замену не морфемы, а лишь ее алломорфа, ср. *друг-* → *друж-*, для тона такой результат редок, а во многих тональных языках и вовсе невозможен (они не оперируют «тональными вариантами» морфем).

⁵ В составе финали и инициали (если это — сложная инициаль, т. е. консонантное сочетание) можно выделить «квазифункциональные» единицы более низких уровней, обладающие еще меньшей степенью автономности, которые также входят в общую

Интонация есть просодический способ: (а) консолидации слов в пределах синтагмы и высказывания и одновременно расчленения последнего; (б) дифференцирования типов высказывания (повествовательное, вопросительное, повелительное); (в) создания эмотивно-волевого «ключа» высказывания, т. е. выражения эмоциональных и волевых отправления говорящего; (г) установления иерархии, прежде всего семантической, компонентов высказывания; (д) указания на соответствие синтаксической и семантической структур высказывания.

Интонация самым тесным образом связана с ударением. Интонационные различия реализуются прежде всего на ударных слогах, а синтагматическое и фразовое ударения непосредственно входят в интонационный контур (интоному) как необходимые характеристики последнего.

Если не считать интонационных средств, относящихся к пункту (в) (положение с ними менее ясно), то можно утверждать, что каждый язык обладает системой интоном как особых фонологических единиц. Это наиболее ясно применительно к пункту (б): давно известно, что существуют повествовательные, вопросительные и побудительные интонации, т. е. интономы (ср., впрочем, гл. VII, с. 136). Но и для указания на расчлененность/нерасчлененность единиц внутри высказывания, можно полагать, существует специальный набор просодических (интонационных) средств, возможно, составляющих собственную систему (ср. [Светозарова 1982]).

Точно так же несомненно существование специальных кодифицированных средств для распределения «весов», придаваемых компонентам высказывания с точки зрения их большей/меньшей важности для говорящего (ср. [Горсуева 1979]). Одновременно к пунктам (а) и (г) относятся средства интонационного выделения темы и/или ремы высказывания: здесь требуются средства и для расчленения высказывания, и для указания на соотносительную важность компонентов.

Пункт (д) из перечисленных выше указывает на использование интонационных средств для так называемого акцентного выделения [Николаева 1982]: в высказывании, например, *Петров поедет в Москву* акцентное (просодическое, интонационное) выделение слова *Петров* ставит в соответствие данному высказыванию сле-*/9//10/*дующую семантическую структуру: ‘X поедет в Москву’ + ‘X есть Петров’ + ‘Y не поедет в Москву’ + ‘Обратное неверно’ [Касевич 1984].

систему силлаботмем [Касевич 1983b: 130–140], но эти «квазифункциональные» единицы никогда не участвуют в морфонологических процессах, поэтому здесь мы упоминаем об их существовании лишь для полноты картины, воздерживаясь от более подробного изложения.

Существует проблема, заключающаяся в том, являются ли интонационные контуры собственно-фонологическими односторонними и, следовательно, незнаковыми единицами (подобно фонемам) — или же они должны трактоваться как особые знаки, т. е. единицы двусторонние, например, вопросительная интонация (интонема) есть знак, имеющий план выражения — соответствующее повышение частоты основного тона и план содержания — грамматическое значение вопросительности. Эта проблема обсуждается в гл. VII.

ЭЛЕМЕНТЫ МОРФОЛОГИИ

Для проведения морфонологического анализа необходимо владение рядом понятий и операций, относящихся к сфере морфологии. Естественно, прежде всего это понятие морфемы и операции выделения морфем.

Наиболее емкое и в то же время достаточно точное определение морфемы заключается в том, что морфема — минимальная значащая единица. Минимальность морфемы не означает, что последняя представляет собой сегмент, необходимый и достаточный для выражения данного значения (ср. [Земская 1973]). Так, один и тот же корень может иметь разные варианты, в том числе разные и по протяженности, ср. *космос* ~ *космический* или же *знать* ~ *гоню*. Из наличия таких пар конечно же не следует, что корнями всегда выступают *косм-* и *зн-* соответственно как части, сохраняющиеся во всех вариантах. Иначе говоря, нельзя считать, что именно и только *косм-*, *зн-* ответственны за значения соответствующих морфем (а отсюда и слов). При таком подходе невозможно ответить на простой вопрос: что представляют собой семантически *-ос* в *космос-*, *-о-* в *гон-* и т. п.?⁶ Безусловно следует считать, что данные корни выступают в двух вариантах каждый (*космос-* и *косм-*, *гон-* и *зн-*) и каждый такой вариант для данной словоформы является минимальным: ни в одном из них невозможно вычленишь сегмент, которому отвечал бы собственный план содержания, собственное значение.

В грамматических, особенно словообразовательных, процессах нередко также случаи, когда формальным средством осуществления грамматической операции является не «одионочная» морфема, а некоторая структура морфем. Например, для образования прилагательного *упаднический* от существительного *упадок* требуется сочетание морфем — суффиксов *-ник-* и *-еск-*, т. е. только эта морфемная структура является

⁶ Из этого следует, что обычное «школьное» определение корня как «общей части родственных слов» нельзя считать вполне адекватным, оно нуждается в серьезных коррективах.

необходимым и /10//11/ достаточным средством, для осуществления словообразовательного процесса. Тем не менее здесь нет морфемы *-ническ-*, а присутствуют, как сказано, две морфемы: *-ник-* и *-еск-*, поскольку каждому из этих сегментов соответствуют собственные значения⁷.

Как мы увидим ниже (см. гл. V), адекватная трактовка тезиса о минимальности морфемы, равно как и соблюдение положения о ее семантизованности, имеют очень важное значение для морфонологии.

Очень существенными оказываются для морфонологии и критерии вычленимости морфем (морфов) и соответствующие операции морфологического анализа, но из композиционных соображений они обсуждаются в данной работе там, где этого требует логика морфонологического исследования (гл. V). Здесь достаточно будет сослаться на хорошо известные в лингвистике приемы типа «квадрата Гринберга» [Гринберг 1963] вместе с принципом остаточной выделяемости и некоторыми другими.

Будучи вычлененными, морфы — минимальные значащие сегменты, — как известно, на следующей стадии морфологического анализа сводятся в морфемы на основании отношения свободного варьирования и дополнительной дистрибуции при условии общности плана содержания. Подобно тому, как в фонологии каждому классу отождествленных элементов (фонов) ставится в соответствие абстрактный объект — фонема, так и в морфологии классу отождествленных морфов ставится в соответствие абстрактный объект — морфема. Фонема, как говорилось выше, представляет в системе двояким образом: как набор дифференциальных признаков и как основной вариант. Ту же ситуацию мы усматриваем применительно к морфеме. Во-первых, если морфема многовариантна (класс отождествленных морфов состоит из более чем одного элемента), то один из этих вариантов является основным, и из необходимости соотнести регулярными правилами основной вариант со всеми остальными как раз и возникает большая часть морфонологических проблем. Во-вторых, инвентарь морфем языка, вероятно, образует некую систему (хотя обычно таким образом вопрос и не ставится); если это так, то каждую морфему можно охарактеризовать через набор

⁷ Особый вопрос — как трактовать семантику и вообще статус суффикса *-ник-* в словах типа *упаднический*. Сравнивая это слово с *западнический* и т. п., мы видим, что в последнем случае словообразовательный процесс носит двухступенчатый характер: *Запад* → *западник* → *западнический*. Соответственно для *упаднический* можно было бы допустить «вспомогательное» существительное **упадник*, не употребляющееся самостоятельно, т. е. *упадок* → **упадник* → *упаднический* (в этом случае прилагательное образовывалось бы не непосредственно от слова *упадок*, а от «мнимого» (фиктивного) существительного **упадник*). Возможны и другие решения этого вопроса, которых мы не будем сейчас касаться.

дифференциальных признаков, которые должны носить функционально-семантический характер. /11//12/

Элемент системности вносится в набор морфем языка уже их распределением по двум основным классам: лексических, или знаменательных, морфем и грамматических, или служебных. Мы не рассматриваем здесь критерии этой классификации. Заметим лишь, что морфонологию не всегда удовлетворяет результат морфологического анализа: так, местоимения обычно причисляются к знаменательным словам (их корни — к знаменательным морфемам), но в языках типа русского местоимения по своим морфонологическим характеристикам сближаются со служебными словами [Чурганова 1973]⁸.

На более высоком языковом уровне морфемы либо выступают в составе слов, либо, «повышаясь в ранге», функционируют как (одноморфемные) слова. Если в данном языке существует словоизменение, то среди всех форм слова одна является основной, и возникает проблема установления закономерностей перехода от основной формы ко всем остальным. Часть таких закономерностей, и с известной точки зрения центральная, носит собственно-морфологический характер. Наряду с этим могут существовать правила экспонентного варьирования, относящиеся как к морфемам в составе слова, так и к слову в целом. Аналогичные правила возможны для словообразования.

Части речи существуют, надо думать, во всех языках⁹. В некоторых языках обнаруживаются закономерные различия в фонологических характеристиках слов, принадлежащих к разным частям речи, их корням и аффиксам, что может составить самостоятельный предмет изучения¹⁰.

Языки, с фонологической точки зрения квалифицируемые как слоговые, как правило, располагают особой грамматической единицей — слогоморфемой, уровневая принадлежность которой не вполне ясна. Слогоморфема материально равна однослогу, который может выступать экспонентом морфемы, но может быть и незначимым; вне зависимости от

⁸ Вообще говоря, с чисто морфологической точки зрения также есть некоторые основания считать местоимения служебными словами, но обсуждение этого вопроса не входит в наши задачи.

⁹ Мнение об отсутствии частей речи в некотором языке эквивалентно утверждению о том, что в данном языке любое слово может выполнять любые функции с одинаковой легкостью (и, отсюда, частотностью). Такой ситуации нет даже в древнекитайском языке, где слова, возможно, с наибольшей легкостью выступают в «необычных» — для данной части речи — синтаксических функциях [Никитина 1982].

¹⁰ Заметим, что связь частеречной принадлежности слова с закономерностями его фонологического оформления (там, где такая связь существует) лишний раз свидетельствует о преимущественно формально-грамматических основаниях распределения слов по частям речи [Касевич 1977]: если бы эти основания были семантическими, трудно было бы, учитывая произвольный характер связи между означающим и означаемым, ожидать прямого «отображения семантики на фонологию».

своей семантизованности/асемантической такой однослог проявляет все свойства значимой /12//13/ единицы: присоединяет грамматические показатели, обычно морфологические, но иногда и синтаксические, участвует в процессах грамматической редупликации и т. п. [Касевич 1983b]. Если в «традиционных» языках, которые с фонологической точки зрения являются неслоговыми (фонемными) и акцентными, основной, базовой, единицей словаря и грамматики выступает слово¹¹, то в слоговых тональных языках таковой должна быть признана слогоморфема. Многие важные процессы грамматики слоговых тональных языков естественнее всего описываются именно в терминах слогоморфем. Слово в таких языках — лишь частный случай сочетания слогоморфем, обладающего максимальной внутренней цельностью. Слово в грамматике языка этого типа — слогоморфемного — принадлежит роль периферийной, маргинальной единицы языковой системы. Некоторые проблемы, связанные с введением понятия слогоморфемы, будут обсуждаться также в гл. VII и VIII (с. 117, 146–147).

¹¹ Для агглютинативных языков это, возможно, не вполне справедливо (см. гл. VII). Однако многие агглютинативные сингармонистические языки являются анакцентными, т. е. лишенными словесного ударения как особой фонологической категории.

Глава I

ПРИРОДА И ФУНКЦИИ МОРФОНОЛОГИЧЕСКИХ ЯВЛЕНИЙ

1. В широкоизвестной работе Н. С. Трубецкого задачи морфонологии определяются так: «Полная морфонологическая теория состоит из следующих трех разделов: 1) теории фонологической структуры морфем; 2) теории комбинаторных звуковых изменений, которым подвергаются отдельные морфемы в морфемных сочетаниях; 3) теории звуковых чередований, выполняющих морфологическую функцию» [Трубецкой 1967: 116–117]. В формулировках Трубецкого не все приемлемо, об этом пойдет речь, в дальнейшем, но его три пункта сразу же вводят в курс морфонологической проблематики, очерчивая тот круг вопросов и фактов, с которыми должен иметь дело исследователь морфонологии.

1.1. Морфонологические явления возникают на пересечении фонологии и морфологии: это закономерности функционирования фонологических средств, обусловленные морфологически. Разберем пример, не раз обсуждавшийся в литературе: возникновение /с/ в русских возвратных глаголах наподобие *купаться* и отсутствие аналогичного явления в *пяться* — /кирасса/ и /p'at's'a/ соответственно. Этот пример анализировался А. А. Реформатским [Реформатский 1957; 1975], который объяснял разницу в закономерностях оформления внешне аналогичных сочетаний тем, что «при образовании [ц] действует фузия, а при отсутствии превращения консонантной группы [тс] в [ц] — агглютинация. [...] Значит, здесь фонемы те же, в том же порядке следования, но позиции разные. Однако это какие-то „другие позиции“, чем обычные — фонологические» [Реформатский 1975: 105].

Если разница в поведении одинаковых фонемных сочетаний: выводится из понятий агглютинации и фузии, то необходимо обратиться к тому, как различает А. А. Реформатский агглютинацию и фузию. Опуская пункты, не могущие иметь влияние на фонологические процессы, читаем, что при фузии «соединение /14//15/ аффиксов с корнями и основами имеет характер тесного сплетения или сплава, когда конечные фонемы корня вступают во взаимодействие с начальными фонемами аффиксов» (среди, примеров фигурирует и *купаться*), а при агглютинации «соединение аффиксов с корнями и основами имеет характер механического приклеивания» [Реформатский 1967: 271], причем среди примеров агглютинативных сочетаний находим и *пяться*. Если учесть, что под «сплавом» Реформатский, в частности, имеет в виду «сплавление» [т] и [с] в [ц], как в *купаться*, а под «механическим-приклеиванием», среди прочего, отсутствие того же явления в *пяться*, то получается, что разное поведение консонантных сочетаний в *купаться* и *пяться* объясняется

через различия в фузии/агглютинации соответственно, а последнее — через разное поведение консонантных сочетаний.

Разница здесь действительно обусловлена не фонологическими, а морфологическими позициями. Но агглютинация и фузия, даже если определять их независимо от поведения консонантных сочетаний, — это слишком общие характеристики, чтобы непосредственно использовать их для объяснения интересующих нас фактов. Для этого надо просто сопоставить фонологические процессы с морфологической структурой единиц, в рамках которых они происходят. Глагол *купаться* имеет морфемное строение /kup-a-t'-s'a/, а глагол *пяться* — /p'at'-Ø-s'a/. Уже из этого сопоставления видно, что /с/ в *купаться* появляется при сочетании флексии инфинитива (или личного окончания 3-го л., ср. *купаются*) с частицей *-ся* — это и есть правило, обуславливающее данный переход (чередование). В *пяться* наблюдаем сочетание нулевого показателя императива с частицей *-ся*, что и объясняет отсутствие перехода /s'/ в /с/¹.

Эту же ситуацию можно описать еще проще: частица /s'a/ выступает в варианте /са/ после окончаний на /t/ или /t'/ а после других окончаний остается без изменений (если не считать вариант /s'/ после гласных, ср. *мылись*)².

1.2. Последняя формулировка демонстрирует также лишний раз правомерность и обоснованность такого «гибридного» понятия, как «морфонология»: для полного описания процессов, относящихся к соответствующей области, действительно требуется /15//16/ информация как фонологическая — в нашем случае об окончаниях с *-т/ть*, так и морфологическая — указание на частицу *-ся* (равно как и использование понятия окончания).

Эта двойственность объекта морфологии не раз вызывала попытки упразднить сам объект, включив его в сферу либо «чистой» морфологии, либо «чистой» фонологии. Так, А. Мартине, выступая в 1966 г. в дискуссии по докладу Э. Станкевича «Иерархизация признаков и грамматических функций в морфофонологии» на Международной фонологической конференции в Вене и полемически заостряя вопрос, предлагал не использовать «более длинный» термин, т. е. «морфонология»,

¹ Заметим, что в /с/ переходит вовсе не сочетание /t's'/ или /ts'/, /ts/, как считают часто (такие представления провоцируются, вероятно, фонетической близостью /ts/ и /с/), а /s'/, поскольку в *купаться* и т. п. нормально имеем сочетание /сс/: второе /с/ заменяет /s'/, а первое есть результат ассимиляции /t/ перед /с/.

² В другой своей статье [Реформатский 1957] А. А. Реформатский говорит более определенно о различных морфологических (морфонологических) позициях в *купаться/пяться*, но, во-первых, не учитывает пулевой показатель в *пяться*, а, во-вторых, в качестве основной причины появления/отсутствия «долгой аффрикаты [ц:]» указывает опять-таки на фузионность/агглютинативность морфемного стыка, а не на различие в морфемной структуре. Об агглютинативности императивных показателей еще ранее упоминал Р. Якобсон [Якобсон 1971].

коль скоро можно обойтись «более кратким» — термином «морфология» [Phonologie der Gegenwart 1967: 187]. В противоположность этому генеративная фонология, как известно, решает вопрос об установлении границ между интересующими нас явлениями в пользу фонологии: здесь все процессы, затрагивающие звуковой облик языковых единиц, вне зависимости от типа их мотивированности, принято считать фонологическими. В то же время нередко делается оговорка, согласно которой такого рода фонология по сути является морфонологией — иначе говоря, упраздненной оказывается не столько морфонология как особый тип языковых отношений, сколько фонология.

При отстаивании права морфонологии на самостоятельное существование обычно, как это и делалось выше, подчеркивают невозможность фонологического объяснения некоторых важных процессов звукового оформления языковых единиц, абсолютную необходимость привлечения грамматической, прежде всего морфологической, информации для адекватного описания такого рода процессов. Это, безусловно, верно. Однако не следует недооценивать и релевантность фонологических признаков, как это было только что показано на примере морфонологии русских возвратных глаголов. Необходимость комплексной фонологическо-морфологической информации для корректного описания морфонологических явлений подчеркивает Е. Курилович, говоря, что, например, умлаут в немецком языке «зависит... от фонемной структуры морфемного окружения» [Kuryłowicz 1968: 70]: при образовании множественного числа и в некоторых других морфологических контекстах действию перегласовки подвергаются лишь гласные с определенной фонологической характеристикой — задние *a, o, u, au*, — в то время как передние остаются без изменений. Там же находим и другие красноречивые примеры. Так, индоевропейский аблаут, устраняющий корневое /e/ перед несущим ударение суффиксом *-tó-* (ср. **lik-tó-* < **leik^{u9}*), в основном приурочен к корням, содержащим сонант или «глайд».

Яркую картину коррелированности фонологических и морфологических характеристик дает материал славянских языков. Здесь отметим лишь некоторые взаимозависимости фонологии и /16//17/ морфологии, которые демонстрируют специфичность морфонологии. Так, устанавливается достаточно четкая связь между типом морфологической парадигмы и типом фонологических чередований, имеющих место при образовании членов парадигмы. Например, при склонении существительных наблюдается следующая закономерность: если в языке есть чередования с невелиярными согласными, то налицо и чередования с велиярными — в глаголе же зависимость обратная, т. е. существование чередований с велиярными предполагает использование чередований с невелиярными [Stankiewicz 1966: 513]. В парадигмах прилагательных не

совмещаются консонантные чередования и сдвиг ударения при изменении формы слова: используется только одно из этих средств — либо же вообще ни то, ни другое, как в большинстве южно- и восточно-славянских языков [Stankiewicz 1966: 518]. Временные оппозиции «поддерживаются морфонологически» во всех славянских языках, залоговые — почти во всех, в то время как формы лица и повелительного наклонения маркированы морфонологически лишь в некоторых из славянских языков [Stankiewicz 1966: 520]. Зависимости такого рода можно проследить и на материале многих других языков, ср., например, данные по испанскому и провансальскому в работе Дж. Байби и М. Брюэр [Bybee, Brewer 1980].

2. Возвращаясь к примеру с образованием русских возвратных глаголов, мы можем заметить еще одну грань морфонологических процессов, возможно, самую важную: когда мы описываем переход *t/t'* в *s* перед *-s'a* как появление варианта *-ca* указанной частицы, то речь у нас идет не просто о сочетаемости/несочетаемости фонем в соответствующих контекстах, но о закономерностях фонологического облика морфем. Иначе говоря, мы имеем дело с правилами, которые определяют, как должны фонологически изменяться экспоненты морфем, когда они сочетаются с другими морфемами и/или занимают определенную позицию в слове (ср. второй пункт у Трубецкого выше).

При таком понимании той части морфонологии, которая соответствует второму пункту у Трубецкого, мы обнаруживаем, что в сферу морфонологии попадают не только фонологические процессы, которые невозможно описать без учета морфонологических контекстов, но и все остальные, если они проявляются при сочетании морфем друг с другом. Так, переход /k/ в /g/ в *мок бы* — это собственно-фонологическое правило, поскольку по законам фонологии русского языка невозможны сочетания шумных, не согласующихся по звонкости/глухости, отсюда допустимость /kk/ (*мокко*), /pt'/ (*птица*), /dd/ (*Маддалена*), /zd/ (*здесь*) и недопустимость /kg, bt, td, zs/. Но во всех этих случаях нет процессов, правило фиксирует то, «что бывает», в отличие от того, «чего не бывает». В противоположность этому в случаях типа *мок бы* несомненно наличие процесса, заключающегося в переходе /mok/ в /mog/. Фонологическая сущность правила, /17//18/ можно сказать, состоит здесь в том, что межморфемные сочетания выравниваются по образцу внутриморфемных. Морфонологическая же его сущность в том, что правило описывает фонологическое варьирование морфемы, смену одного варианта другим, вызванную контекстом, хотя в данном случае контекст по форме морфонологический (налицо морфемный стык), а по содержанию — фонологический.

3. Вполне понятно, что проблемы включения в сферу морфонологии тех или иных типов чередований вызывают разногласия между представителями различных фонологических школ. Для МФШ или

генеративной фонологии, которые переход /k/ → /g/ в *мок бы* трактуют как чисто-фонетическое явление, варьирование /mok/ ~ /mog/, не принадлежа фонологии, тем самым не относится и к морфонологии. Мы не можем здесь специально рассматривать собственно-фонологические вопросы и отсылаем читателя к нашим предыдущим работам, где дается обоснование «щербовского» варианта решения проблемы [Касевич 1983b; 1977], согласно которому, как известно, чередование типа /k/ ~ /g/ в *мок ~ мок бы* является фонологическим и, следовательно, переход от алломорфа /mok/ к алломорфу /mog/ — это фонологическое варьирование морфемы, причем, как уже отмечено, оно наступает в морфологическом контексте, пусть и неспецифичном (см. также ниже).

Некоторые авторы переводят вопрос в несколько иную плоскость: говорят о невозможности (или, наоборот, возможности) включения в сферу морфонологии автоматических чередований. К автоматическим относят чередования, которые имеют место в фонологических контекстах [Блумфилд 1968; Wells 1949]. Различие между автоматической/неавтоматической меной фонем не тождественно противопоставлению фонетического (аллофонического) варьирования фонологическому чередованию. Например, ассимилятивные переходы *с* в *ш* в случаях типа *сшить*, *з* в *ж* в *изжить* и т. п., *т* в *ч* или *ц* в примерах наподобие *отчитать*, *отцепить*, вероятно, абсолютным большинством фонологов квалифицируются как фонологические чередования, хотя их автоматический характер несомненен. Когда говорят, что автоматические чередования качественно отличаются от неавтоматических — первые обусловлены фонологически, вторые морфологически, что автоматические чередования просто «не нуждаются» в представлении об особой языковой и лингвистической сфере — морфонологии, то с этим в целом нельзя не согласиться: фонологическая, а не морфологическая мотивированность автоматических чередований входит уже в их определение, и если бы все чередования были автоматическими, то, действительно, необходимости в их рассмотрении за пределами фонологии не возникало бы. Вместе с тем даже и в этом случае следовало бы учитывать, что любые синхронические чередования имеют место тогда, когда сочетаются значимые единицы, чаще всего морфемы, так что уже само по себе понятие чередования предполагает обращение к экстрафонологическим сферам языковой системы. Можно сказать, что разница между неавтоматическими и автоматическими чередованиями заключается не столько в участии/неучастии грамматического контекста, поскольку последний присутствует неизбежно, сколько в специфичности этого контекста для неавтоматических чередований и неспецифичности для автоматических. Еще иначе (и более точно) различие между двумя видами чередований можно сформулировать следующим образом. Коль скоро всякое чередование, как сказано выше, предполагает контекст — тип

сочетания значимых единиц, то надо учитывать, что значимые единицы обладают двумя планами: выражения и содержания. Для автоматических чередований важны лишь характеристики контекста в плане выражения, для неавтоматических — и в плане выражения, и в плане содержания, хотя соотношение этих двух аспектов для конкретных неавтоматических чередований может быть разным.

Отсутствие абсолютной противопоставленности автоматических чередований, обусловленных фонетически, неавтоматическим, мотивированным грамматически, хорошо демонстрирует материал русского языка. Хрестоматийным примером автоматического чередования всегда считается замена звонких глухими в случаях типа *зуба ~ зуб, рога ~ рог*. Условия наступления такого чередования описывают по-разному: иногда как позицию перед паузой, в абсолютном исходе, иногда — как позицию ауслаута слова. Между тем от того, каковы на самом деле условия, вызывающие чередования, зависит и трактовка последних в качестве автоматических или неавтоматических: если чередование мотивировано последующей паузой, то мы имеем дело с фонологическим контекстом — следовательно, чередование автоматическое, если же чередование вызвано позицией ауслаута, то такой контекст носит морфологический характер, и чередование должно считаться неавтоматическим³.

В литературе уже отмечалось [Булыгина 1977], что в случаях наподобие /19//20/ *зуб ли* замена конечного согласного слова глухим происходит несмотря на то, что согласный не находится перед паузой: его позиция — «внутри» фонетического слова, но в конце лексико-грамматического. Поскольку позиция перед паузой — это одновременно позиция ауслаута, то можно было бы счесть, что чередование звонких с глухими обусловлено морфологически и, следовательно, выступает как неавтоматическое. Но и такой вывод не отражает всей совокупности

³ Здесь хотелось бы сделать замечание, связанное с понятием афонематических пограничных сигналов, введенным, как известно, Н. С. Трубецким [Трубецкой 1960: 302 сл.]. Если под чередованием понимать всякую мену фонов, то можно сказать, что аллофоническое варьирование, кроме свободного, всегда автоматически, хотя обратное неверно: автоматическое чередование может быть и аллофоническим и фонологическим. Неавтоматическое же чередование всегда фонологично. Коль скоро неавтоматическое чередование имеет грамматическую обусловленность, из этого следует, что если чередование мотивировано грамматическим контекстом, то оно фонологично. Пограничные сигналы — это фонетические (в широком смысле) указатели границ между значащими, т. е. грамматическими, единицами, прежде всего словами. Таким образом, наличие пограничного сигнала предполагает грамматический контекст. Но с грамматическим контекстом, как мы только что видели, могут быть ассоциированы только фонологические, а не аллофонические (афонематические) чередования и соответственно различия, что делает само понятие афонематических пограничных сигналов теоретически сомнительным.

фактов, ибо не всегда позиция ауслота ведет к замене звонкого глухим: если в отсутствие паузы за словом с конечным звонким следует слово с начальным звонким, например, *зуб быка, рог быка*, то звонкость сохраняется, чередования не происходит несмотря на позицию конца слова. Таким образом, в данном случае для наступления чередования требуется совокупность условий, одни из которых являются фонетическими (фонологическими), другие — грамматическими (морфологическими), причем можно говорить об определенной иерархии условий: наличие только лишь паузы — условие достаточное, но не необходимое, позиция ауслота — необходимое, но недостаточное, позиции ауслота и отсутствия последующего звонкого — необходимое и достаточное. Само же чередование выступает то как автоматическое, то как неавтоматическое.

Оборотной стороной нежелания включать в объект морфонологии автоматические чередования можно считать отказ некоторых представителей так называемой натуральной фонологии учитывать «немотивированные или морфологически мотивированные чередования»: согласно взглядам таких авторов, как Х. Андерсен, Т. Веннеманн, Д. Стемп и др., неавтоматические чередования должны быть исключены из рассмотрения, поскольку с точки зрения фонетических закономерностей «им в принципе невозможно дать объяснение» [Donegan, Stampe 1979: 127–128]. Здесь мы также встречаемся с возведением «непроходимой стены» между разными видами чередований на сей раз на том основании, что типичные автоматические чередования — оглушения, озвончения, ассимиляции, монофтонгизации и т. п. — могут быть объяснены некоторыми «естественными» процессами, т. е. свойственными человеку вообще, а не только носителю данного языка; в то время как неавтоматические чередования не допускают «естественной» интерпретации.

С нашей точки зрения, ничто не мешает сколь угодно строго (но, конечно, не за счет фактов) различать автоматические и неавтоматические чередования в рамках морфонологии. Нет основания отказывать автоматическим чередованиям в статусе морфонологических, если они дают особые варианты морфем. Морфонологию предлагалось определить как «парадигматическую морфематику» [Клобуков 1976] — дисциплину, изучающую варьирование морфем, т. е. парадигматику их алломорфов. Такое определение слишком сужает сферу морфонологии, но правильно /20//21/ отражает ее важнейшую область. Поэтому автоматические чередования принадлежат морфонологии как один из источников алломорфии.

Что же касается отнесения автоматических чередований к фонологии, как и предложений рассматривать чередования дважды — в фонологии и морфонологии [Бромлей 1974], то подобные взгляды едва ли

могут быть приняты. В (сегментной) фонологии изучаются система фонем, их синтагматика безотносительно к грамматическим и лексическим контекстам (хотя сама по себе система фонем и выводится главным образом из закономерностей функционирования звуковых единиц в составе морфем), а также место и роль фонем, слогов, других фонологических единиц в речевой деятельности. В системе фонем чередований, естественно, нет, а есть оппозиции (во многом связанные с участием фонем в чередованиях, но сами чередованиями, конечно, не являющиеся). В фонологической синтагматике существуют правила сочетаемости фонем, которые также не тождественны правилам мены фонем в составе значимых единиц в зависимости от контекста. Без сочетания значимых единиц чередований нет, поэтому чередования, если это чередования фонем, всегда принадлежат морфонологии и только ей.

4. Итак, первое деление объекта морфонологии, точнее, той его части, которая соответствует второму пункту у Трубецкого, — это противопоставление автоматических и неавтоматических чередований, а также других типов морфемных модификаций (см. с. 67–68), в совокупности относящихся к морфонологии. Второе деление должно, по существу, исходить из той же логики: неавтоматические чередования отграничиваются от автоматических, как сказано, тем, что для их реализации требуются морфологические условия «вдобавок» к фонологическим; однако и внутри класса неавтоматических чередований можно выделить подкласс таких, которые имеют место лишь при наличии определенных лексических условий «вдобавок» к морфологическим. Иначе говоря, происходит ступенчатое повышение ранга ограничений на чередования: фонологические, морфологические, лексические ограничения. Ясно, что в последнем случае речь идет о таких чередованиях, которые в идентичных фонологических и морфологических условиях распространяются лишь на часть лексики. Таково положение с некоторыми консонантными чередованиями в русском языке, ср. *молчать* — *молчун*, но *кричать* — *крикун*. По данному признаку неавтоматические чередования делятся на регулярные — те, что распространяются на все слова, характеризующиеся данным фонологическим сочетанием морфем, и нерегулярные, или узуальные, которые отмечаются лишь для части слов с тем же типом сочетания морфем [Касевич 1971].

Как можно видеть, последнее деление связано с вопросом о регулярности морфонологических процессов. Известно, что /21//22/ А. А. Реформатский отрицал регулярность морфонологии, говоря о традиционных исторических, т. е. неавтоматических, чередованиях как о существующих лишь в силу традиции, сложившегося узуса [Реформатский 1955] и называя морфонологию «штучным отделом» языка [Реформатский 1975]. В качестве иллюстрации Реформатский, в частности, использовал (в одном из устных выступлений) пример с равновозможностью *машу* и

махаю, где в первом случае налицо чередование $x \sim ш$, а во втором чередования нет. Однако пример говорит о прямо противоположном — об обязательности, а не факультативности морфонологического изменения: *махаю* и *машу* отличаются по своей морфемной структуре, и, следовательно, корни находятся в разных морфемных контекстах, которые и предопределяют, притом абсолютно однозначно, наличие/отсутствие чередования (**машаю* исключено столь же категорически, сколь и **маху*).

Точно так же невозможно представить себе существительное на *-к*, *-г*, *-х*, которое не заменяло бы эти последние на *-ч*, *-ж*, *-ш* соответственно перед суффиксами типа *-ок*, что особенно хорошо видно на материале окказионализмов наподобие *парчок* (уменьшительное от *парк*): вариант **паркок* абсолютно неприемлем.

По мнению Д. Стампа и П. Донеган, неавтоматические чередования (которым в их теории в целом соответствуют «правила», в отличие от «процессов» — близких аналогов автоматических чередований) выделяются именно обязательностью: они характеризуются условностью, лишены фонетического содержания и поэтому не подвержены «фонетическому давлению (направленному на экономию усилий или большую четкость), которое обусловлено стилем произношения или темпом» [Donagan, Stampe 1979: 145]. Здесь верно то, что никакие речевые условия не могут вынудить, например, носителя русского языка заменить единственно допустимую словоформу *мычу* на **мыку* или же *стежок* на **стегок*, но, по существу, то, о чем говорят Стамп и Донеган, относится к другой области: к противопоставлению орфоэпической и орфофонической правильности, из которых последняя, естественно, относительно более подвижна.

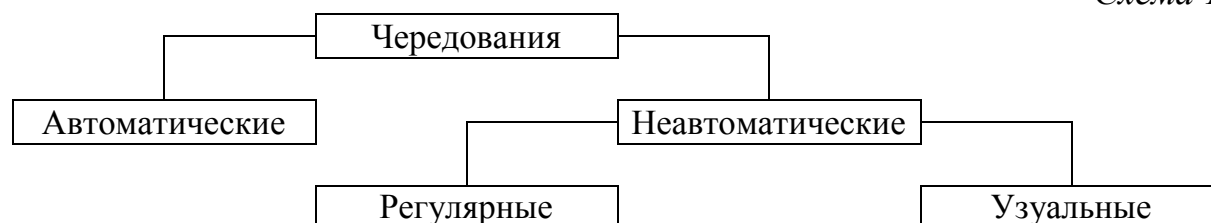
Адекватное описание обсуждаемой ситуации должно следовать фактам, которые состоят в том, что в сфере морфонологии представлены и полностью регулярные чередования, не являющиеся автоматическими, и узуальные, распространяющиеся лишь на некоторые слова, а иногда и просто уникальные⁴. Регулярные чередования являются «историческими», как именует их традиция, (да и неавтоматическими), только с точки зрения фонологии как таковой. С точки же зрения морфонологии они не менее «живые», чем автоматические чередования. Узуальные чередования, как правило, тоже обязательны, но сфера их распространения ограничена определенным подклассом слов из класса с данным типом сочетания морфем. По-видимому, изредка узуальные чередования могут быть и факультативными, но их необязательность относительна, так как

⁴ Один из примеров уникального морфонологического явления, правда в области акцентологии, приводит Э. Станкевич: в славянских языках существует единственное слово, где ударение при образовании словоформы множественного числа перемещается с окончания на третий от конца основы слог — это рус. и укр. *сковорода*, ср. *сковороды* [Stankiewicz 1966: 514].

соответствующие варианты обычно обнаруживают специфическую дистрибуцию — приуроченность к тем или иным сочетаниям или стилям; ср. одинаково возможные *петербургский* и *петербуржский*, где, с одной стороны, допустим только первый вариант в сочетании *Петербургский университет*, а, с другой — для второго из вариантов можно отметить несколько архаическую окраску в сочетаниях, где встречаются оба (например, *петербургские жители* ~ *петербуржские жители*).

В итоге классификация чередований с интересующей нас точки зрения может быть представлена посредством схемы 1.

Схема 1



5. К морфонологии относятся, таким образом, фонологические правила, сопровождающие синхронические грамматические процессы. Морфонологическими являются только такие изменения, которые именно сопровождают грамматические процессы, но не те, что служат средством выражения грамматических значений.

Носят ли морфонологические изменения знаковый характер? На этот вопрос в существующей литературе даются разные ответы. Одни авторы отрицают знаковость морфонологических явлений [Попова 1971: 51–53]. Другие, напротив, вводят положение о значимости и знаковости морфонологических характеристик в самое определение морфонологии как особого фрагмента системы языка и языкознания [Кубрякова, Панкрац 1983]. В то же время авторы, защищающие тезис об обязательной значимости морфонологических явлений, считают нужным оговориться, что «иногда эти значи-/23/24/мости трудно определить и описать» [Кубрякова, Панкрац 1983: 18], что речь идет о «некотором тонком, иногда трудноуловимом, но от этого не менее реальном сдвиге в значении у одной формы сравнительно с другой» [Кубрякова, Панкрац 1983: 21].

По-видимому, для начала целесообразно обратиться хотя бы к выборочным конкретным примерам, чтобы оценить реальность утверждений о значимости и знаковости морфонологических изменений. В монографии Е. С. Кубряковой и Ю. Г. Панкраца находим очень наглядную таблицу, показывающую варьирование исландской морфемы *gef-* (*gefa* ‘давать’) с указанием на «диапазон ролей» соответствующих алломорфов в грамматике [Кубрякова, Панкрац 1983: 25]⁵. Согласно таблице алломорф

⁵ Авторы пишут «в грамматике и словообразовании», выводя словообразование за пределы грамматики.

gef-, например, представлен в формах презенса ед. и мн. ч. индикатива, в инфинитиве, в *nomina agentis* и в отглагольном прилагательном. О каком же сдвиге в значении, пусть даже «тонком, трудноуловимом», здесь может идти речь? Если брать по отдельности каждую из форм, в которых участвует алломорф *gef-*, то сдвиг в значении будет достаточно ясный, определенный. Если же считать, что огласовка *-e-* как таковая обладает определенной значимостью, тем более — значением, то придется либо определять семантический инвариант, присущий одновременно плану содержания презенса ед. и мн. ч. индикатива, инфинитива, *nomina agentis* и отглагольных прилагательных, что вряд ли выполнимо, либо устанавливать некое семантическое поле, где, например, инфинитив, вернее, его семантика, выступал бы в качестве ядра, а значения остальных форм и дериватов входили бы в поле на правах производных, вторичных компонентов [Касевич 1977]; последний вариант также не представляется реалистичным.

Также недостаточно убедительно, с нашей точки зрения, предположение о том, что чередования типа $k \rightarrow c$ в русском языке свидетельствуют о противопоставлении производного слова мотивировавшей его единице [Кубрякова, Панкрац 1983: 18]. Во-первых, по виду данной единицы (слова) еще нельзя, опираясь на наличие, например, *-ч-* в определенном морфологическом контексте, судить о ее производности от слова с основой на *-к*. Например, *сургучный* внешне «выглядит» так же, как и, скажем, *курдючный*, хотя первое прилагательное восходит к *сургуч*, а второе — к *курдюк*. Во-вторых, отношение может быть и прямо противоположным, когда в производном слове имеем *-к*, а в мотивирующем — *-ч-*, ср. *стучать* → *стук* (ср. в этой связи понятие обратных чередований).

Е. С. Кубрякова и Ю. Г. Панкрац «придерживаются той точки зрения, что разные фонологические последовательности всегда заставляют предположить, что за ними лежат различия в передаваемом ими содержании» [Кубрякова, Панкрац 1983: 21]. Здесь, думается, /24//25/ налицо известное упрощение действительного положения вещей. Хорошо известно, что отношение означающего морфемы, представленного «фонологической последовательностью», и ее означаемого асимметрично. Разным означающим могут соответствовать одинаковые означаемые и наоборот. Поэтому вряд ли можно говорить, что изменение означающего всегда связано с изменением означаемого (с «различием в передаваемом содержании»). Достаточно сослаться на факт свободного варьирования алломорфов типа *-ой* ~ *-ою* в русском языке.

Вся ситуация, как нам представляется, носит несколько более сложный характер. При переходе от фонем к значащим единицам происходит своего рода «ограничение неопределенности», и морфонологические явления, в частности чередования, находят в этом

процессе свое место. Так, фонема сама по себе не ассоциируется ни с каким значением, а, стало быть, потенциально ассоциируется с любым: заранее невозможно сказать, экспонентом какой морфемы или интегрантом какого экспонента может быть фонема /a/⁶. Морфема, в частности служебная, обладает уже достаточно определенным значением (и функциями), хотя диапазон ее значений и функций еще очень широк. Например, падежная флексия характеризуется весьма широким набором значений (функций), однако он отнюдь не беспределен. Даже если оставить — вопреки Р. Якобсону [Jacobson 1936] — попытки вывести функционально-семантический инвариант, ассоциированный с каждым падежом, следует признать, что значения и функции падежей связаны определенной логикой, носят неслучайный характер⁷. Степень неопределенности продолжает уменьшаться при переходе к более сложно организованным языковым единицам и приближается к нулю в случае высказывания, рассматриваемого в достаточно широком контексте.

Как уже сказано выше, свое место в этом процессе постепенного снятия неопределенности⁸ занимают и морфонологические явления. Они сигнализируют о том, с каким алломорфом некоторой морфемы и в каком контексте мы имеем дело. Тем самым они действительно вносят свой вклад в снятие неопределенности при переходе от элементарных к более сложным единицам. Однако, во-первых, указание на функцию морфемы путем маркирования ее алломорфа некоторой морфонологической /25//26/ характеристикой очень часто носит лишь вероятностный характер, потому что одни и те же морфонологические явления ассоциируются с достаточно разнородными грамматическими формами (ср. выше). Во-вторых, участие морфонологических характеристик в формировании знаков с определенными свойствами и функциями еще не говорит о том, что морфонологические явления сами по себе имеют знаковую природу. Чтобы приобрести статус знака, некоторое явление должно обнаружить свою билатеральность: должен быть экспонент знака, или означающее, с которым ассоциировано означаемое — пусть широкое, абстрактное, но могущее быть отграниченным от других значений, ассоциированных с другими экспонентами. Как показывает изложенное

⁶ В некоторых языках бывают лишь формальные ограничения общего характера, как, например, в семитских, где корневые морфемы, как известно, обычно имеют своими экспонентами сочетания *согласных*.

⁷ Между прочим, на неслучайный характер связи частных значений одного и того же падежа или иного грамматического показателя указывают факты одинакового развития значений и функций в неродственных языках (ср. бирм. *'ma'* и турецк. *-dan* — одновременно 'от', 'из' и 'через').

⁸ Мы, разумеется, не имеем здесь в виду процессы речевой деятельности, которые, конечно же, не реализуются как продвижение от более элементарных единиц к сложным: речь идет о внутрисистемных соотношениях единиц разной степени сложности.

выше, морфонологические явления не удовлетворяют этому условию. Если бы они удовлетворяли условию знаковости, то были бы морфонологическими, а не морфологическими.

6. Именно поэтому мы не относим к морфонологии явления внутренней флексии. Несмотря на убедительную критику, которой А. А. Реформатский подверг тезис Н. С. Трубецкого о причислении к морфонологии внутренней флексии [Реформатский 1955], этот тезис отстаивается в некоторых последних работах, поэтому целесообразно еще раз остановиться на данной проблеме.

Чередования, относящиеся к внутренней флексии, рассматриваются наравне с собственно-морфонологическими явлениями в монографии Е. С. Кубряковой и Ю. Г. Панкраца [Кубрякова, Панкрац 1983]. Авторы пишут, что применительно к случаям типа англ. *foot* 'нога' — *feet* 'ноги', нем. *Apfel* 'яблоко' — *Äpfel* 'яблоки', датск. *gås* 'гусь' — *gæs* 'гуси', шв. *mus* 'мышь' — *möss* 'мыши' (мн. ч.) они говорят о «повышении морфонологических альтернатив в их функциональном ранге» [Кубрякова, Панкрац 1983: 24]. Далее признается, что «их (таких альтернатив. — В. К.) переход на уровень морфологии, разумеется, сомнения не вызывает» (там же). Не совсем понятно, однако, почему — если речь идет о синхронии — данное явление описывается как «повышение альтернатив в ранге», как «переход» на уровень морфологии? По-видимому, следовало бы говорить не о переходе на уровень морфологии, а о принадлежности к последнему уровню, тем более, если морфологический статус функционирования альтернатив «сомнения не вызывает».

Авторов удерживает от признания внутренней флексии в качестве собственно-морфологического феномена следующее обстоятельство: «...не вполне ясно, следует ли выводить эти явления из морфонологии, если по своему фонологическому субстрату и функциональной нагрузке они все же совпадают с теми морфонологическими альтернативами, которые используются в этом же языке не в качестве внутренней флексии, а в качестве средств, сопровождающих флексию. На наш взгляд, тождественные по своему фонологическому составу альтернативы значащего типа должны описываться в морфонологии независимо от того, проявляется ли их значимость в прямых оппозициях (ср. нем. *das warme Wetter* 'теплая погода' и *die Wärme* 'тепло') или в сопровождении аффиксов (ср. нем. *warm* 'теплый' — *wärmer* 'теплее')» (там же).

Нужно сказать прежде всего, что авторы цитированной монографии в данном случае обнаруживают слишком большую зависимость от своего основного материала — материала германских языков. Действительно, для германских языков типична ситуация, когда одно и то же чередование в одних случаях выступает как единственное средство передачи некоторого грамматического значения, а в других — как фонологическое изменение экспонента морфемы, выступающей в сочетании с другой морфемой, грам-

матической (служебной). Однако такая ситуация отнюдь не универсальна. Достаточно известен материал разных языков, где фонологическое чередование определенного вида выступает исключительно для передачи грамматических значений и никогда — как сопроводительное явление⁹. В качестве примера можно сослаться на образование каузатива от непереходных глаголов бирманского языка типа /lu⁴/ ‘быть свободным’ /‘lu⁴/ ‘освободить’, где средство выражения каузативности — замена непридыхательной инициали придыхательной, и это чередование никогда не выступает как сопутствующее при каких бы то ни было грамматических процессах. Остается неясным, будут ли такого рода чередования Кубрякова и Панкрац рассматривать как морфонологические?

В разных языках существуют четыре варианта использования фонологических чередований в их связи с функционированием аффиксальных грамматических средств.

(1) Некоторое грамматическое значение выражается только чередованием. Например, в нахских языках однократный и многократный виды противопоставлены за счет различия в корневых гласных, ср. *дада* ‘побеги’ ~ *ида* ‘бегай’, *охка* ‘повесь’ ~ *иехка* ‘вешай’ (чеченский язык) [Дешериев 1979: 200].

(2) Данное грамматическое значение может выражаться посредством и чередования, и аффикса, но оба средства никогда не совмещаются в одной словоформе. Пример можно привести из бирманского языка. В так называемом «письменном» языке адъективная форма глагола небудущего времени может быть образована путем замены либо тона временного показателя (второй тон меняется на первый), либо самого этого показателя на специальный маркер адъективной формы /t̚³/, ср. /lo⁴t̚²/ ‘делает’ → /lo⁴t̚¹/ ‘делающий’ или /lo⁴t̚³/ (с тем же значением). /27//28/ Сосуществовать эти два способа выражения адъективности в бирманском языке не могут.

(3) Грамматическое значение может выражаться посредством и чередования, и аффикса, причем оба средства могут сосуществовать в одной словоформе, ср. нем. *die Kunst* ‘искусство’ → *die Künste* ‘искусства’, где множественное число представлено дважды: умлаутом, способным в других словах самостоятельно выполнять эту функцию (*die Mutter* → *die Mütter*), и аффиксом *-e* (ср. *der Tag* → *die Tage*).

(4) Грамматическое значение выражается при помощи аффикса, одновременно в корне наблюдается чередование, которое в других словоформах ответственно за передачу грамматического значения, но

⁹ Заметим, что и в пределах германской группы ситуация в разных языках отличается: так, в английском языке случаи использования одного и того же чередования и для самостоятельного выражения грамматического значения, и для сопутствующего варьирования морфемы относительно редки, примеры типа *read* ‘читаю’ ~ *read* ‘читал’ и *feel* ‘чувствую’ ~ *felt* ‘чувствовал’ единичны.

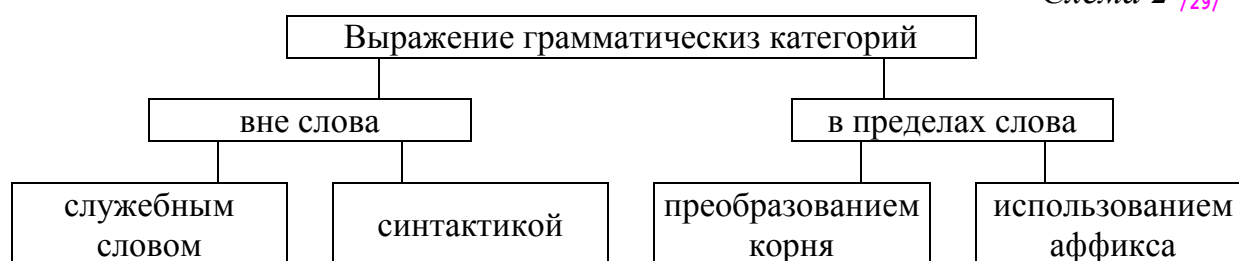
другого. Именно такова ситуация с нем. *warm* ‘теплый’ → *warmer* ‘теплее’. Для образования сравнительной степени прилагательного здесь служит аффикс *-er*, одновременно происходит чередование $a \sim \ddot{a}$, которое в ряде словоформ выступает единственным средством реализации грамматических оппозиций, однако компаратив не образуется за счет одного лишь чередования $a \sim \ddot{a}$.

Представляется достаточно очевидным, что лишь вариант (4) относится к сфере морфонологии (наряду с не включенным в общий список пятым вариантом, когда сопровождающее грамматический процесс фонологическое варьирование вообще не имеет отношения к самостоятельному маркированию оппозиций). Только в этом варианте чередование носит сопроводительный характер несмотря на то, что в других ситуациях оно же берет на себя основную функцию в выражении некоторого значения. Коль скоро значения не совпадают, мы здесь имеем дело с чем-то напоподобие омонимии.

Варианты же (1–3) принадлежат морфологии. Безусловно, использование «собственно-фонологической» техники сближает внутреннюю флексию с морфонологией. Однако несравненно важнее не «техническая», внешняя, сторона дела, а функциональная: за чередованием типа нем. $a \sim \ddot{a}$ в *Apfel \sim \ddot{A}pfel* закреплено вполне определенное грамматическое значение, и ничто другое это грамматическое значение здесь не выражает. Того же никак нельзя сказать о материально тождественном чередовании в случае *warm \sim wärmer*.

Ставя вопрос более широко, можно говорить о следующей типологии средств выражения грамматических (преимущественно морфонологических) значений (см. схему 2).

Схема 2 /29/



Показанные на схеме 2 способы выражения грамматических значений не являются несовместимыми: они могут сочетаться при одной и той же словоформе. Например, для образования формы сослагательного наклонения глагола в русском языке необходимо одновременно использовать и служебное слово *бы* и аффикс *-л*.

На первый взгляд аналогичным образом, как совмещение /28//29/ двух способов выражения грамматического значения, можно рассматривать и морфонологические изменения, сопровождающие прибавление аффикса. Но аналогия эта кажущаяся. Форма сослагательного наклонения в русском

языке (если продолжать оперировать тем же примером) ни при каких условиях не может быть образована без любого из сочетающихся грамматических средств: служебного слова и аффикса. Оба они являются необходимыми и достаточными для существования данной формы. Иная ситуация при наличии морфонологических явлений. Например, при образовании существительных с семантикой уменьшительности посредством аффикса *-ок* именно этот последний является необходимым и достаточным условием для возникновения деривата соответствующего вида, ср. *лист* → *листок*, *лес* → *лесок*, *куль* → *кулек* и т. п. Лишь у существительных с основой на *-к*, *-х*, *-г* эти согласные, при прибавлении суффикса *-ок*, заменяются на *-ч*, *-ш*, *-ж*, ср. *сук* → *сучок*, *слух* → *слушок*, *друг* → *дружок*. Точно так же в немецком языке компаратив от, скажем, *weit*, *breit* образуется посредством одного лишь суффикса *-er* (*weiter*, *breiter*), в то время как при производстве такой же сравнительной степени от *warm* имеет место сопроводительное явление — перегласовка корня (*wärmer*).

И лишь применительно к тому варианту, который в перечне-классификации выше значится как (3), действительно можно говорить о совмещении двух способов выражения грамматического значения, двух видов морфологической техники, поскольку и модификация корня (чаще всего его перегласовка), и аффикс способны порознь самостоятельно выражать данное значение, как в нем. *die Künste*. Полной аналогии с одновременным использованием аналитической и синтетической техники, как при образовании формы сослагательного наклонения в русском языке, впрочем, нет и здесь: в русском языке только совместное функционирование обоих средств дает нужную форму, порознь ни *бы*, ни *-л* не способны манифестировать сослагательность.

/29/30/

В варианте (3) — тип *die Künste* — целесообразно усматривать «двойное» выражение одного грамматического значения, т. е. фонологическое средство относить к морфологии, как и обычную внутреннюю флексию. Основание для этого простое: если данное средство (перегласовка) самостоятельно выражает соответствующее грамматическое значение, оно выражает его всякий раз, как употребляется.

Как уже признавалось, нет причин отрицать специфичность такого средства выражения грамматических значений, как изменение фонологии корня. Однако, как мы видели, этот способ вполне укладывается в общую типологию грамматических средств. На схеме 2 внутренняя флексия объединена с аффиксацией в силу того, что в обоих случаях значение выражается внутри слова. Но возможен и иной ракурс рассмотрения. Можно объединить использование служебных слов и аффиксов, поскольку и те и другие суть особые служебные морфемы, добавляющиеся к слову или корню (основе) при необходимости выразить данное значение, тогда

сгруппированными в один подкласс окажутся внутренняя флексия и синтактика. И это также имеет свои основания: использование внутренней флексии или типа синтактики — это операции над морфемой (словом), которые функционально эквивалентны добавлению специальной морфемы¹⁰. Например, в бирманском языке средством выражения каузативности может быть: (а) использование особой морфемы, ср. /kauŋ³/ ‘быть хорошим’ → /kauŋ³ze²/ ‘делать хорошим’, ‘улучшать’, (б) замена непридыхательной инициали придыхательной, т. е. внутренняя флексия, ср. /p^{□2}/ ‘появляться’ → /p^{ʰ□2}/ ‘проявлять’, (в) вхождение глагола в соответствующую синтаксическую конструкцию, т. е. использование типа синтактики, ср. /t̥u²do¹ka³go²pi≈a¹dε²/ ‘они показывают фильм’ → /ka³pi≈a¹ne²bi²/ ‘фильм уже демонстрируется’¹¹.

Отношения внутри двух подклассов грамматических средств (аффиксы/служебные слова и внутренняя флексия/синтактика) оказываются, заметим, симметричными: аффикс прибавляется к корню (основе), в то время как служебное слово — к (знаменательному) слову; таким же образом внутренняя флексия есть операция над корнем, в то время как использование типа синтактики для передачи грамматического (морфологического) значения — это операция, хотя и другого рода, над словом. /30//31/

Иначе говоря, и при данной модификации типологии грамматических средств включение внутренней флексии в грамматику, в морфологию оказывается обоснованным: при любом способе классификации типов выражения грамматических значений логика классификации предполагает средство вида внутренней флексии, оставляет для него, по существу, «пустую клетку» (которая и остается пустой, если в языке это средство не используется).

Если есть необходимость как-то выделить и терминологически отграничить ту часть морфологии, в которой средством выражения грамматических значений выступает фонологическая модификация корня, т. е. внутренняя флексия, то можно предложить закрепить за морфологией такого рода термин «фономорфология». (До недавнего времени он использовался как полный синоним термина «морфонология»¹², сейчас же

¹⁰ В нашей типологии не отражен еще один тип морфологической техники, широко используемый в разных языках: редупликация. Дело в том, что при редупликации нет противопоставления морфемы слову, ибо удваиваться (редуплицироваться) могут как морфемы (корни, аффиксы) или их части, сочетания (основы), так и слова.

¹¹ В последнем примере направление производности, возможно, обратное, т. е. исходной является каузативная форма [Касевич 1981], но для нас это сейчас не имеет значения.

¹² В свое время выбор между двумя терминами иногда отвечал склонности соответствующих авторов считать морфонологию либо преимущественно фонологической дисциплиной, либо преимущественно морфологической.

практически вышел из употребления.) Именно такое использование термина «фономорфология» казалось бы оправданным и достаточно логичным, поскольку речь идет именно о морфологии, в которой средства реализации оппозиций носят фонологический характер.

7. Итак, морфонологические явления не носят знакового характера по двум причинам: во-первых, они не являются независимыми, та или иная морфонологическая характеристика всегда обусловлена фономорфологическим контекстом; во-вторых, типична ситуация, когда одни и те же морфонологические признаки сопровождают принципиально разные грамматические процессы, не обладающие какой бы то ни было функциональной и/или семантической общностью.

Какую же роль играют в языке и речевой деятельности морфонологические процессы, если они всегда выступают лишь как сопроводительные явления?

Роль морфонологических процессов принимает различные очертания в зависимости от того, рассматриваем мы их в плане порождения или восприятия речи или же с точки зрения усвоения языка.

Наличие чередований и других типов варьирования морфем, несомненно, усложняет процесс порождения речи, заставляя применять дополнительные правила (которые подвержены нарушениям при речевых расстройствах [Винарская, Касевич 1977; Dressler 1977]). Равным образом при овладении системой языка приходится учиться отождествлять разные варианты одной и той же морфемы. Но одновременно отождествление вариантов в сильнейшей степени способствует структурированию системы фонем, обнаружению ее дифференциальных признаков. Таким образом, в этом аспекте наличие развитого морфонологического компонента уже не носит преимущественно «негативного» характера. /31//32/

Наиболее велика и, так сказать, позитивна роль морфологии в плане восприятия речи. Те самые процессы, которые в известной степени затрудняют порождение речи, оказываются средством, облегчающим ее восприятие. Действительно, если тот или иной морфологический контекст требует данного фонологического облика, то этот фонологический облик служит, в свою очередь, дополнительным сигналом соответствующей морфологической характеристики. Например, если в исландском языке использование окончаний множественного числа приводит к перегласовке корня — например, *börn* вместо *barn* ‘ребенок’ во всех падежах множественного числа, кроме родительного [Макаев, Кубрякова 1969], — то сама перегласовка, несомненно, служит дополнительной пометой множественности. Правда, в таких случаях, как уже говорилось выше, речь может идти только о вероятностной связи морфонологического (фонологического) облика и морфологической характеристики, поскольку одни и те же морфонологические процессы обслуживают разные

морфонологические явления. Но и вероятностные закономерности вносят свой вклад в более уверенное опознавание языковых единиц и их форм.

Иначе говоря, с точки зрения восприятия речи роль морфонологических закономерностей заключается в повышении избыточности текста. Избыточность, как хорошо известно, отнюдь не означает «ненужность»; напротив, только наличие избыточности обеспечивает надежность восприятия, и те характеристики, которые в одних условиях используются как побочные для интерпретации соответствующих единиц, в других (например, затрудненных) могут оказаться основными¹³.

Переводя рассмотрение в план внутрисистемных отношений, можно сказать вслед за Э. Станкевичем, что морфонологические средства языка «подчеркивают» (sharpen) морфонологические оппозиции. Любопытно, что морфонология не вступает с морфологией в своего рода комплементарные отношения, когда морфонологический арсенал использовался бы для маркирования тех оппозиций, которые с морфологической точки зрения носят неустойчивый, недостаточно выраженный или вырожденный характер. Скорее, наоборот. В славянских языках, например, парадигма прилагательного имеет более «примитивный» характер в сравнении с субстантивной, субпарадигма множественного числа существительных проще, чем субпарадигма единственного. Но именно эти фрагменты системы характеризуются одновременно и менее развитыми морфонологическими процессами. В то /32//33/ же время парадигма существительного в сопоставлении с парадигмой прилагательного, единственное число существительных сравнительно с множественным используют морфонологическое варьирование заметно шире [Stankiewicz 1966: 519].

Тезис о повышении избыточности как основной роли морфонологических характеристик можно с точки зрения внутрисистемных отношений языка интерпретировать и по-другому. Если считать, что морфонологические свойства служат обусловленными дополнительными признаками соответствующих единиц, то такие признаки по аналогии со словоупотреблением, принятым в фонологии, можно квалифицировать как интегральные: в фонологии интегральными признаками считаются именно те, которые не являются независимыми, а выступают совместно с дифференциальными. Примерно такова же ситуация и в морфонологии. Разница в том, что дифференциальные признаки — аффиксы и другие морфонологические

¹³ М. Комарек на материале чешского языка предпринял попытку численно определить величину информации, которую несет морфонологическое варьирование морфем, при этом он исходил из того, что данный фонологический облик морфа вполне определенным образом повышает вероятность употребления с ним некоторого другого морфа [Komarek 1966].

средства — здесь принадлежат одному уровню, морфологическому, а интегральные воплощаются в другом, фонологическом.

Эти интегральные признаки помечают единицы знаковых уровней, прежде всего слова. Вернее, можно говорить о двухступенчатом процессе. Само по себе присутствие той или иной морфонологической характеристики, например согласного *-ч-* перед суффиксом *-ок*, служит пометой данного алломорфа корня, а наличие именно этого, а не другого алломорфа из числа возможных выступает как обусловленный и, следовательно, интегральный признак деривата данного типа.

Как всякие интегральные признаки, морфонологические характеристики в определенных ситуациях в принципе способны выдвигаться на первый план, в этом и проявляется связь интегральности и избыточности.

Нужно также упомянуть, что положение о роли морфонологических закономерностей как средстве повышения избыточности не следует абсолютизировать. Чередования фонем могут приводить к нейтрализации морфем, ср. /luk/ ‘лук’ и ‘луг’, /noʒ/ ‘нож-’ (*ножик*) и ‘ног-’ (*ноженька*), что, естественно, не повышает избыточности, а, наоборот, ведет к росту неоднозначности.

8. Когда мы утверждаем, как это неоднократно делалось выше, что основной аспект морфонологии — фонологическое варьирование морфем, то неизбежно возникает вопрос о направлении варьирования или, иначе, о выборе основного варианта морфемы. Представителей дескриптивной лингвистики не раз — и справедливо — упрекали в том, что, описывая конкретные языки, они ограничивались приведением списков алломорфов с указанием дистрибуции последних, не пытаясь выяснить закономерные связи и соотношения между альтернантами морфем, уста-/ʒʒ/ʒʒ/новить определенную иерархию между ними¹⁴. Такая практика, действительно, сводит задачи языковеда к фактографии. Нельзя согласиться и с теми авторами, которые вопрос о направлении варьирования относят к сфере собственно фонологии, а не морфонологии [Бромлей 1974: 38]: в системе фонем ее члены находятся в отношении оппозиции, а не чередования (см. выше, с. 21); отношение оппозиции также характеризуется своего рода направленностью, поскольку одна из противопоставленных фонем выступает как немаркированная и в этом смысле как исходная, а другая как маркированная, «производная». Однако ясно, что это статичное отношение, а не динамическое, свойственное чередованиям.

Только выделив среди множества вариантов каждой морфемы один в качестве основного¹⁵, мы получим возможность представить описание

¹⁴ Впрочем, Л. Блумфилд, как хорошо известно, на материале языка меномини предпринял одну из первых попыток стратифицировать варианты морфем, выделив один из морфов на роль основного [Bloomfield 1939].

¹⁵ Как будет видно из дальнейшего изложения, не всегда существует один-

морфонологии в некотором систематизированном виде: морфонологический компонент примет вид системы, в которой к исходным объектам — основным вариантам морфем — применяется набор правил, в результате чего порождаются все текстовые варианты для всех существующих контекстов, фонологических и морфологических. В плане восприятия речи картина, естественно, обратная: правила возводят каждый текстовый вариант морфемы к тому или иному основному (словарному) варианту.

Такая постановка вопроса позволяет выделить две центральные проблемы морфонологии: проблему основного варианта и проблему формы морфонологических правил.

единственный основной вариант морфемы, возможны ситуации, когда выделены несколько словарных вариантов (см. гл. II и III, с. 73).

Глава II

ОСНОВНОЙ ВАРИАНТ МОРФЕМЫ

1. Когда морфема представлена набором вариантов, необходимы критерии, позволяющие выбрать один из них в качестве основного. Какой характер должны носить эти критерии?

Нередко принимается наиболее простое решение: считать основной формой (основным вариантом) морфемы тот альтернант, который представлен в словарной форме соответствующих слов; для глагольных корней это корень инфинитива, для субстантивных — корень, содержащийся в словоформах именительного падежа единственного числа [Кубрякова, Панкрац 1983]. Однако такое решение вопроса об основном варианте морфемы вряд ли может /34//35/ быть серьезно обосновано. Приписывание той или иной словоформе статуса словарной может быть обусловлено традицией, лишь отдаленно отражающей реальные внутрисистемные отношения в языке. Даже в таких генетически и типологически близких языках, как древнегреческий и санскрит, глаголы входят в словарь в разных формах: для древнегреческого (и латинского) это форма 1-го л. ед. ч., а для санскрита — 3-го л. ед. ч. В монголистике же, например, наиболее принято включать в словарь глаголы в форме причастия настоящего-будущего времени на *-х*.

В славянском языкознании инфинитивность глаголов обычно отнюдь не интерпретируется как их грамматическая исходность. Центральное место в процессах глагольного формообразования, как правило, отводится не основе инфинитива¹, а двум «главным» основам, из которых, в свою очередь, важнейшая — презентная, или первая (основа настоящего времени). Соответственно, например, соотношение *класть* ~ *кладу* ~ *клат* понимается как отражающее чередование $d \rightarrow c$ (а не $c \rightarrow d$), обусловленное соседством окончания инфинитива, и $d \rightarrow$ «нуль», мотивированное контекстом окончания *-л* [Маслов 1968а: 51]. Иначе говоря, в качестве исходного варианта основы, совпадающей в данном случае с корнем, принимается не инфинитивная, а презентная.

Но даже и несомненная грамматическая исходность, по-видимому, еще не всегда говорит об исходности морфонологической. Корреляции между фонологическими (морфонологическими) и грамматическими характеристиками существуют, но они не столь однозначны, чтобы можно было на основании грамматической исходности словоформы с

¹ Для языков типа славянских главную роль в грамматических процессах играют не столько морфемы, сколько их «надструктуры» — основы и формативы (см. также ниже, с. 39).

уверенностью заключать о морфонологической исходности ее интегрантов-морфем. Так, в глаголах *стучать*, *пищать* в качестве исходных, основных вариантов корней следует, по всей вероятности, признать *стук-*, *писк-*, хотя в «главных» основах везде имеем *стуч-*, *пищ-*. Поэтому вряд ли целесообразно класть в основу нахождения исходного варианта представления о максимальной параллельности морфонологических и содержательных характеристик слова, как это делает Дж. Хупер в одной из своих работ: она формулирует «гипотезу семантической прозрачности» (Semantic Transparency Hypothesis), согласно которой исходной формой должна считаться семантически простейшая, немаркированная (primitive) [Hooper 1979].

2. Если обсуждавшийся выше подход, во всех его разновидностях, ориентирован преимущественно на содержательную сторону языковых единиц — морфонологическая исходность выводится из исходности грамматической или даже лексико-грам-^{/35/36/}матической, то два других подхода руководствуются формальными признаками: в качестве основного варианта принимается либо наиболее «длинный», либо наиболее «короткий». Ясно, что все прочие варианты морфемы (основы) получаются соответственно путем опущения или приращения тех или иных фонем.

Первый подход был использован прежде всего Р. Якобсоном [Jacobson 1948], а вслед за ним многими другими исследователями. Второй, хотя и не вполне последовательно, отражен, скажем, в обычном школьном определении корня как «общей части родственных слов»: в качестве корня (даже не основного его варианта, а корня как такового) выделяют ту часть, которая сохраняется во всех однокоренных словах, и естественно, что эта «часть» оказывается минимальной из возможных.

При первом из указанных подходов, где Якобсон и другие авторы, оперируя материалом русского и прочих славянских языков, ведут описание в терминах основ, а не морфем (корней), на роль исходной в системе глагола выдвигается одна из «главных» основ — та, которая имеет максимальную протяженность. Для глагола *читать* это первая основа (*читај-*), для глагола *писать* — вторая (*писа-*). Если же максимально протяженный вариант обнаруживается за пределами класса «главных» основ, то именно он принимается в качестве основного, например *давај-* для *давать*.

Этот подход привлекателен и имеет свои положительные стороны; значительная часть реальных основ действительно удовлетворительно выводится из максимально «длинных» посредством «небольшого числа общих и очень жестких механических правил чередования гласного с нулем — перед морфемой, начинающейся гласным, и согласного с нулем — перед морфемой, начинающейся согласным» [Маслов 1968а: 61]. Вместе с тем отнюдь не для каждого случая ситуация такова, что один из имеющихся вариантов морфем (основ) обладает максимальной

протяженностью, и этим его отличия от других вариантов исчерпываются: достаточно распространены такие типы соотношения вариантов, когда их протяженность одинакова, но различен фонемный состав или же разнятся и «длина» и состав. Например, в глаголе *мять* для второй основы имеем *мя-*, где нет *-н-* и в анлауте мягкий согласный, а для первой основы — *мн-*, где есть *-н-*, но нет *-а-* и анлаутный согласный — твердый. Конечно, можно «совместить» два варианта, получив **мян-*, но подход, при котором исследователь оперирует единицами, не засвидетельствованными в текстах — а ни в одной реальной словоформе глагола *мять* основы *мян-* нет — сомнителен с теоретической точки зрения (см. ниже, с. 44).

Имеются и другие затруднения, создаваемые принципом, приравнивающим основной вариант «самому длинному». Так, для глаголов *жить*, *плыть* максимальными вариантами высту-^{/36/37/}пают *жив-*, *пльв-*, они отвечают и первой, презентной, основе. По Якобсону, перед прикрытой морфемой, т. е. начинающейся с согласного, конечный основы опускается, в силу чего получаем *жить*, *плыть*. Но, во-первых, суть здесь не только в прикрытости/неприкрытости окончания, а и в его слоговости/неслоговости: после открытой основы выбирается вариант окончания инфинитива *-ть*, а после закрытой — *-ти*, при этом конечный основы переходит в *-с*, ср. *брести* (*бреду*), *плести* (*плету*) и т. п.². Во-вторых, возможно и рассмотрение «от окончания», а не только «от основы», тогда получим, что после закрытых *жив-*, *пльв-* выбирается вариант окончания *-ти*, *-в* заменяется на *-с* (правда, в других словоформах такого чередования нет) — в результате порождаются неверные формы инфинитива **жисти*, *пльсти*³.

Ниже мы еще вернемся к обсуждению этого казуса. Сейчас же отметим, что определенные трудности возникают и при последовательном проведении принципа выбора минимального варианта в качестве исходного. Главная из них, вероятно, заключается в том, что в очень многих случаях признаки фонем, подлежащих введению в морфему (экспонент морфа) для получения из исходного варианта вариантов контекстуальных, плохо поддаются систематизации, оказываются непредсказуемыми. В итоге, если для устранения фонем из записи основного варианта, когда последний «максимален», требуется лишь указание на позицию опускаемой фонемы, то для введения фонемы в «минимальный» основной вариант необходима информация и о позиции, и о качестве дополняемых фонем.

3. По-видимому, нереалистично рассчитывать на «стопроцентную» успешность лингвистической методики, жестко сориентированной на один

² Исключение — глагол *идти* с его дериватами, в том числе и этимологическими, ср. *идти*, *прийти*, *найти*.

³ Ср. укр. *пльсти* при *пльву*, *пльве* и т. п.

из возможных формальных критериев: максимальную либо минимальную протяженность исходного варианта. Подход к решению вопроса о выборе основного варианта должен быть более гибким, в нем следует учитывать различные аспекты, как формальные, так и содержательные.

Что касается формальных аспектов, то прежде всего приходится допустить: процедуры установления основного варианта носят во многом эмпирический характер и к тому же неотделимы от одновременной разработки морфонологических правил. Исследователь дает предварительный набор правил, столь же гипотетически выдвигает один из реально засвидетельствованных вариантов на роль основного и затем проверяет, можно ли из него по данным правилам удовлетворительно вывести все остальные, контекстуальные варианты. Например, для корневой морфемы русского языка, содержащейся в словоформах /37//38/ *нога*, *ножка*, *ножек* и т. д. устанавливается основной вариант /nog-/, а все прочие выводим по правилам:

- $$\begin{array}{l}
 1. \text{ nog} \rightarrow \text{no}\check{\text{z}} / \left. \begin{array}{l} -\text{en}'\text{k-} \\ -\text{onk-} \\ -\text{i}\check{\text{s}}\check{\text{c}}- \\ -\text{ek-} \\ -\text{n-} \end{array} \right\} \\
 2. \text{ nog} \rightarrow \text{nag} / \text{---} [\text{--- ударн.}] \\
 3. \text{ nog} \rightarrow \text{nok} / \text{---} \# \\
 4. \text{ nag} \rightarrow \text{nag}' / \left. \begin{array}{l} -\text{i} \\ -\text{e} \end{array} \right\} \\
 5. \text{ no}\check{\text{z}} \rightarrow \text{no}\check{\text{s}} / \text{---} -\text{k} \\
 6. \text{ nog} \rightarrow \text{nog}' / \text{---} -\text{i} \\
 7. \text{ no}\check{\text{z}} \rightarrow \text{na}\check{\text{z}} / \text{---} [\text{--- ударн.}]
 \end{array}$$

Приведенные правила во многом неравноценны (об этом пойдет речь ниже), к тому же они обслуживают одну морфему, хотя в принципе должны быть пригодны для вывода морфов, принадлежащих максимально широкому кругу морфем. Нас сейчас интересует только процедура выбора основного варианта. Как сказано, нужно перепробовать все имеющиеся варианты на роль основного, чтобы убедиться в том, что выбор произведен правильно: при неверном выборе применение правил даст неприемлемые результаты, т. е. будут порождены варианты, не засвидетельствованные в текстах.

Так, допустим, что в нашем примере в качестве основного избран вариант /noš/. Поскольку правила должны быть действительны для всех морфем (морфов) того же класса, обладающих идентичным, с данной точки зрения, фонологическим обликом, то наряду с правильным /nag/ из /noš/, где /noš/ — корень слова *ножка*, мы получим такой же вариант, т. е. /nag/, из /noš/, где /noš/ — корень слова *ноша*. Последний результат,

конечно, неприемлем, он говорит о том, что /пощ/ не годится на роль основного варианта.

Выбирая между разными вариантами, претендующими на роль основного, мы должны также учитывать соответствие постулируемых форм и правил фонологическим и морфонологическим закономерностям данного языка. Здесь уместно вернуться к обсуждавшимся выше русским примерам типа *жить*, *плыть*. Мы видели, что конкурирующие варианты *жи-/жив-*, *плы-/плыв-* обнаруживают как плюсы, так и минусы. Для разрешения этой дилеммы полезно обратиться к правилам фонемно-слогового оформления морфемосочетаний в русском языке. Р. Якобсон [Jacobson 1948] установил для русского глагола закономерность, позднее распространенную Э. Станкевичем на все славянские язы-*/38//39/ки* [Stankiewicz 1966], согласно которой сочетание открытой основы с неприкрытым окончанием недопустимо, или, иначе, запрещено зияние на стыке основы и окончания. Подчеркнем, что это морфонологическая закономерность, а не фонологическая: хотя для русского языка зияние вообще нетипично, в других морфологических контекстах оно не исключено, ср. *аорта*, *прииск*, *выуживать*, *заарканить* и т. п.

Коль скоро это так, наличие *-e-* в первой основе и его отсутствие во второй (*жил*, *жить*, *плыл*, *плыть*) целесообразно трактовать как приращение при переходе от основных вариантов *жи-*, *плы-* к контекстуальным *жив-*, *плыв-*, а не как опущение при обратном переходе: ведь введение консонанта имеет более «сильную» мотивировку, чем его устранение, ибо на сочетания типа **жи-у*, *плы-у* системой языка наложен абсолютный запрет, в то время как варианты наподобие *жисти*, *плысти* (см. с. 37) все же возможны, пусть даже только в принципе⁴.

По-видимому, наряду с фонотактикой и морфотактикой можно говорить об особой морфонотактике, которая отражает фонологические правила сочетаемости/несочетаемости морфологических единиц. Именно правилами морфонотактики определяются несочетаемость открытых основ с неприкрытыми окончаниями в славянских языках, выбор слогового или неслогового варианта морфемы (*-ти/-ть*, *-ся/-сь*) в зависимости от закрытости/открытости основы в русских глаголах. Правила морфонотактики возникают на пересечении фонемных, слоговых и морфонологических закономерностей, свойственных данному языку, и их

⁴ Несколько иную, но в принципе сходную картину можно предположить для таких глаголов, как *пить*, *бить*: при исходных вариантах *пи-*, *би-*, поскольку формы **пи-у*, *би-у* и т. п. невозможны, происходит чередование, выражающееся в «консонантизации» гласного, в результате получаем *пью*, *бью* и т. п. (с сохранением мягкости анлаутного согласного, здесь уже не имеющей фонологической мотивированности). Заметим, что Е. Курилович введение *-х-* в славянских формах сигматического аориста прямо трактует как способ «устранения зияния» [Kuryłowicz 1968: 72].

необходимо учитывать при определении направления морфонологического варьирования.

4. Естественно, в общем, стремиться к такому представлению основных вариантов и морфонологических правил, которое обеспечивало бы наиболее регулярное порождение всех возможных морфов при наименьшем числе исходных объектов — основных вариантов. Именно эти соображения положены в основу подхода генеративной фонологии. Однако при их реализации возникают трудности, связанные с доказательностью морфонологических построений: очень часто более простые, экономные, регулярные модели получаются за счет введения единиц, онтологическая реальность которых сомнительна, но доказать это или опровергнуть, оставаясь в рамках данной модели, невозможно. Отсюда — поиск ограничений, налагаемых /39//40/ на выбор основного варианта. Возможные ограничения имеют по крайней мере три источника, и их целесообразно рассмотреть отдельно.

4.1. Первое ограничение связано с типом фонологического инвентаря единиц, которые допустимо использовать для записи основного варианта морфемы. В своих предыдущих работах мы уже обсуждали вопрос о так называемых абстрактных фонологических сегментах и показывали их неприемлемость [Касевич 1983b: 67–73]. Соответственно, считаем неприемлемыми и методы установления основных вариантов морфем с использованием абстрактных сегментов.

Однако надо дополнительно обсудить некоторые собственно-морфонологические аспекты проблемы. Для генеративистов, как известно, реальны с функциональной точки зрения только словарные (глубинные, системно-фонологические) и текстовые (поверхностные, системно-фонетические) записи морфем. Поэтому установление словарной записи морфемы в практике генеративистов — это не поиск ее основного варианта, а «сведение» всех вариантов морфемы в один, из которого набором правил порождаются все текстовые. Отсюда следует, что проблема словарной записи морфемы здесь не может быть решена без разграничения в каждом конкретном случае вариантов морфемы и морфем-синонимов. Основной источник появления абстрактных единиц в словарных представлениях морфем — это именно стремление свести к минимуму возможность морфемной синонимии. Если, например, для испанского глагола *oír* ‘слышать’ устанавливается словарная запись /awd/, поскольку существует слово *audición* ‘слушание’ и некоторые другие, а потом сложной системой правил из /awd/ получают поверхностные формы *oigo* ‘слышу’, *oís* ‘слышишь’ и т. п. (см. [Calvano, Saltarelli 1979: 2]), то это объясняется именно стремлением не допустить вхождения в словарь двух синонимичных морфем — /awd/ и /oir/.

Однако, с нашей точки зрения, установление словарной записи морфемы вовсе не требует, чтобы словарный вариант «поглотил» все

прочие, сходные в плане содержания. Одновременное существование в словаре морфем-синонимов отнюдь нельзя исключить заранее.

Остается найти критерии для различения вариантности и синонимии морфем. В. Кальвано и М. Сальтарелли ставят этот вопрос в традиционных генеративистских рамках, выясняя реальность фонологических правил: согласно их предложению, реальны те фонологические правила, которые описывают фонетический процесс, не знающий исключений, отражают варьирование, связанное с формообразованием и продуктивным словообразованием в данном языке, согласуются с универсальными фонетическими принципами [Calvano, Saltarelli 1979: 9]. Самый важный пункт, как считают авторы, — учет продуктивности соотношений языковых форм. Уже это позволяет не объединять /40//41/ корни испанских слов *oír* и *audición* в одну морфему, так как не существует регулярных переходов типа *oír* → *audición*, или наоборот. При нашем подходе такое решение будет означать, что данные слова содержат синонимичные корни, а не варианты одного и того же корня.

Однако В. Кальвано и М. Сальтарелли выдвигают, пожалуй, чересчур сильное требование. Руководствуясь им, придется поставить под сомнение, скажем, правило элизии гласных в русских корнях, поскольку оно не универсально (ср. *рожон* — *рожна*, но *резон* — *резона*) и не мотивировано фонетически. Значит ли это, что *рожон-* и *рожн-* — морфемы-синонимы, а не варианты одного корня?

Вероятно, критерий можно сформулировать более осторожно. Любой вариант, если не считать свободного варьирования, возникает в силу взаимодействия данного морфа и контекста. Если правило, фиксирующее переход от морфа X к морфу Y в контексте C, указывает на фонологические признаки хотя бы одной из переменных — X, Y или C, то морф Y есть вариант морфа X. Так, морф *рожн-* — вариант морфа *рожон-*, поскольку правило говорит об опущении гласной /o/ в корнях некоторого фонологического облика (хотя и не во всех). Но морф *люд'* — не есть вариант морфа *человек-*, так как правило перехода от *человек-* к *люд'* — не апеллирует к фонологическому виду ни первого морфа, ни второго, ни контекста, в котором осуществляется замена морфов. Поэтому *люд'* — самостоятельная морфема, синонимичная морфеме *человек-*.

Подчеркнем, что, с нашей точки зрения, установление алломорфной связи между морфами не влечет за собой ни признания их фонологической идентичности (основной источник появления абстрактных фонологических единиц), ни даже невозможности их одновременного вхождения в словарь.

Фонологическая охарактеризованность контекста и/или заменяемых сегментов в экспоненте варьирующей морфемы — первое условие признания алломорфии. Второе условие — воспроизводимость данного типа модификации в других морфемах. По существу, это требование

наличия хотя бы еще одной морфемы, экспонент которой варьирует точно таким же образом. Например, корень *сл-* из *слать* переходит в *ил-*, ср. *иллю*, *илет* и т. д. Замена *с* на *ш* выглядит вполне мотивированной фонологически, более того, чередование *с ~ ш* представлено в русском языке достаточно широко, в том числе и в глаголах, ср. *носить ~ ношу* и т. п. Однако, кажется, нет ни одного другого случая, где бы замена *с* на *ш* имела место в анлауте морфемы, а позиция здесь столь же важна, сколь и содержание мены фонем. Поэтому *сл- ~ ил-*, вероятно, не следует трактовать как случай алломорфии, перед нами, скорее, синонимия корней.

4.2. Возникает вопрос: принадлежит ли синонимия корней /41//42/ к морфонологии, и, если нет, то к какой сфере языка и лингвистики ее следует относить?

Морфонология изучает фонологические закономерности в строении и варьировании значимых единиц, обусловленные грамматически. Поэтому при невозможности охарактеризовать данный процесс как фонологический, т. е. описывающийся — частично — в фонологических терминах, этот процесс не относится и к морфонологии. Коль скоро синонимия морфем отличается от алломорфии именно тем, что она не обнаруживает каких бы то ни было фонологических закономерностей, этот тип соотношения морфем выходит за рамки морфонологии.

Хорошо известно, что в лингвистике применительно к нефонологическому варьированию корней (основ) принято говорить о супплетивизме. Но, как представляется, не все еще прояснено в этом традиционном понятии. Прежде всего требуется ясно оговорить, что супплетивизм — это частный случай синонимии морфем. Действительно, между морфемами *человек-* и *люд'-*, *плох-* и *хуж-* существуют отношения синонимии, как и между, скажем, морфемами *кон'-* и *лошад'-*. Особенность супплетивов заключается в том, что синонимы наподобие *люд'-* связаны грамматическим (морфологическим) контекстом и нейтральны во всех прочих отношениях, в то время как для синонимов типа *кон'-* положение иное: они не связаны грамматическим контекстом, а только лишь стилистическим (в широком смысле). Можно сказать, что супплетивизм — это грамматически обусловленная синонимия морфем⁵.

Традиционно понятие супплетивизма относят не ко всем морфемам, а только к корням (или основам). Однако существуют соотношения и между аффиксами, которые вполне параллельны традиционным супплетивным связям между корнями. Например, регулярная замена *-онок*

⁵ Супплетивизм, как известно, находят и в словообразовании, трактуя, например, *прачка* в качестве супплетива — имени деятеля по отношению к *стирать* [Апресян 1974]. Конечно, имя *прачка* не образовано в полном смысле слова от глагола *стирать* — но ведь и словоформа *люди* точно так же не образована «буквально» от словоформы *человек*. В принципе здесь положение то же: корень *прач-* можно рассматривать в качестве синонима корня *стир-* в контексте суффикса *-к(а)*.

на *-ат-* перед окончанием множественного числа существительных (*теленки* — *телята*, *утенки* — *утята*) явно обнаруживает ту же природу, что и замена наподобие *человек-* → *люди*'-.

Иная ситуация представлена там, где имеется синонимия грамматических показателей, формирующих члены разных субпарадигм, как в разных склонениях и спряжениях. В таких случаях уже нет оснований говорить о супплетивизме, ибо, хотя синонимия налицо (ср. нулевое окончание в *рук* и *-ов* в *столов*), использование того или иного окончания обусловлено лексическим, а не грамматическим контекстом.

/42//43/

Итак, существуют три типа контекста, мотивирующих употребление данной морфемы из ряда синонимов: грамматический, лексический, стилистический. При воздействии грамматического контекста мы имеем супплетивизм, обнаруживающий, в свою очередь, два подтипа: супплетивизм корней и супплетивизм аффиксов. Формальная разница между ними сводится к общим различиям, характерным для корней и аффиксов: аффиксальный супплетив продуктивен, т. е. нормально встречается в разных лексемах, корневой — только в данной лексеме и ее дериватах.

Когда выбор синонима регулируется лексическим контекстом, то мы имеем дело с неагглютинативными аффиксами (см. об этом понятии в гл. VII).

Если мотивирующий контекст носит стилистический характер, то перед нами либо корни тождественной денотации, но с разными коннотациями, либо — реже — синонимичные аффиксы (например, *современный* и *архаический*).

Первый и третий случай принадлежат словарю, второй — грамматике (морфологии).

И вместе с тем некоторые точки соприкосновения между супплетивизмом и морфонологией все же существуют. Выше утверждалось, что морфемы *человек-* и *люди*'-, *-онок* и *-ат-* синонимичны, т. е. словоформы *человек* ~ *люди*, *утенок* ~ *утята* противопоставлены за счет различия в окончаниях, а не корнях и суффиксах. Это действительно так, что показывают дериваты: например, в просторечных *людской*, *полудски* передается значение 'типичное для [нормального, хорошего] человека', здесь нет семантики множественности⁶; суффикс же *-ат-* вообще может подвергаться десемантизации, когда его употребление определяется лишь узусом, — *утятина*, *гусятина* не означают 'мясо утенка, гусенка'. Однако в то же время связанность

⁶ Наличие деривата *людный* не опровергает этого, ибо образованные от существительных прилагательные с суффиксом *-н-* сами по себе могут передавать значение значительной проявленности признака; ср. *умный* 'обладающий значительным умом', *вкусный* 'обладающий хорошим вкусом'.

соответствующего синонима именно с данным, а не каким-либо иным грамматическим контекстом приводит к тому, что на него «ложится ответ» этого контекста. В итоге подобно морфонологическим явлениям — и даже, вероятно, в еще большей степени — супплетивно образующиеся синонимы морфем выступают интегральными признаками тех словоформ, в состав которых они типично входят. Иначе говоря, хотя наличие, например, суффикса *-am-* само по себе не передает значения множественного числа, оно «подчеркивает», подкрепляет это значение.

4.3. Исключение абстрактных сегментов из словарной записи морфем означает недопущение таких фонологических единиц, которые никогда не имеют текстовых рефлексов, т. е. ни-*/43//44/*, когда не реализуются в качестве вариантов, представленных в текстах. Тот же источник — соотнесенность с текстом — имеет и второе ограничение, а именно: в качестве основного варианта морфемы может избираться только тот, который реально представлен в текстах. Помимо исключенности абстрактных единиц здесь возникают два дополнительных аспекта: собственно-фонологический и морфонологический.

Собственно-фонологический заключается в том, что согласно данному ограничению в словарной записи морфем не должно быть фонемных сочетаний, не встречающихся в тексте. Так, в испанском языке отсутствуют кластеры с начальным */s/*, это хорошо видно в оформлении заимствований с использованием протетического */e/*, ср. *esnob*, *esmoking* и т. п. Преобладающее ударение в испанских словах с исходом на гласный или */n/*, */s/* — пенультимативное (на предпоследнем слоге), однако есть исключения типа *estóy*, *estás*. Чтобы «регуляризовать» испанское ударение, Дж. Харрис словарные формы указанных морфем дает как *stoy*, *stas* соответственно. Это позволяет приписать им ударение по общему правилу (единственный слог всегда ударен), а уже затем, по другому правилу, добавить начальную */e/* в силу запрета на сочетания типа */st/* в начале слов. Порождение текстовых вариантов, согласно Харрису, принимает следующий вид (см. [Hooper 1976: 183]): *stoy* → *stóy* → *estóy*; *stas* → *stás* → *estás*.

Но Дж. Хупер справедливо замечает, что описание Харриса неприемлемо, так как его представление словарного варианта морфемы нарушает важную и характерную черту испанской фонотактики — недопущение начальных сочетаний с */s/*. Правила фонологического облика морфем и собственно-морфонологические правила у Харриса оказываются в противоречии: первые допускают указанные сочетания, вторые исключают их [Hooper 1976: 183]⁷.

⁷ В своей более поздней работе Дж. Харрис приводит любопытные данные и соображения в пользу нефонологичности испанского *e-*, предваряющего консонантные сочетания (напомним, у Харриса речь идет именно о нефонологичности, ибо любой элемент, появляющийся не в словарной записи, а

Морфонологический аспект рассматриваемого ограничения /44/45/ на выбор основного варианта морфемы состоит в том, что словарный вариант должен совпадать с одним из тех, что представлены в текстах. Решение Харриса, обсуждавшееся выше, нарушает и это ограничение, поскольку в испанском тексте не засвидетельствованы варианты *stoy*, *stas*. Однако когда основной вариант русской морфемы *берег* записывают как *берг* и даже когда корни *лов-*, *ков-* и подобные получают словарную запись *лоу-*, *коу-* и т. п. [Лайтнер 1965], правила русской фонотактики не нарушаются, но такие решения расходятся с принципом совпадения основного варианта с одной из текстовых реализаций морфем.

Строгое следование этому правилу наталкивается, однако, на серьезные затруднения. Так, в основных вариантах русских морфем типа *холод-*, *молод-* обе согласные должны быть представлены как /o/: ср. *холод* /xolat/ и *холодный* /xalodnyj/, *молод* /molat/ и *моложе* /malozы/. Но в тексте, естественно, нет вариантов с двумя /o/, поскольку в одном слове невозможны два ударных слога, а отсюда — обязательный переход по крайней мере одной /o/ в /a/.

Вероятно, выход из этой ситуации — в обращении к понятию субморфа, о чем будет сказано ниже (гл. V).

4.4. Третье ограничение на выбор основного варианта морфемы находят такие авторы, как Т. Веннеманн и Д. Стемп (см. об этом: [Hooper 1976: 126]). Они вводят требование «произносимости» основного варианта. С одной стороны, в нем объединяются все ограничения, обсуждавшиеся выше: если основной вариант удовлетворяет требованию произносимости, то, значит, в нем нет абстрактных сегментов, не нарушены фонотактические правила языка и, вероятно, выполняется требование совпадения с одним из реальных текстовых вариантов (во всяком случае, если под произносимостью понимать произнесение осмысленной единицы).

С другой стороны, это слишком сильное требование, принятие которого поставит в большом числе случаев под сомнение самую возможность установления основного варианта морфемы. Ясно, что не

вследствие действия фонологических (морфонологических) правил, в генеративистике считается нефонологичным). При образовании деминутивов от двусложных существительных используется суффикс *-ecit(a/o)*: *madre* → *madrecita*, *saurio* — *sauriecito*; от существительных с большим числом слогов — суффикс *-it(a/o)*: *comadre* → *comadrita*, *dinosaurio* → *dinosaurito*. Если же трехсложное существительное имеет начальное *e-* перед консонантным сочетанием, деминутив образуется по первому правилу (например, *estudio* → *estudiecito*, *espacio* → *espaciecito*), т. е. *e-* как бы «не считается» [Harris 1979: 290–291]. Однако возможна и другая трактовка: *e-* в соответствующих случаях с диахронической точки зрения является протезой; протезы могут быть как фонетические, так и фонологические, но всякая протеза ввиду своей несомненной автоматичности может «не считаться» в тех или иных фонологических и морфонологических процессах.

обладают свойством произносимости варианты наподобие /xolod/ ввиду невозможности безударного /o/ в русском языке — это затруднение, как мы видели, возникает и без обращения к принципу произносимости. При обращении к данному принципу вариант /xolod/ оказывается вдвойне невозможным, так как в русском языке невозможно произнести конечную звонкую. Естественно, это распространяется на все морфемы с конечными звонкими.

В испанском языке морфемы могут завершаться на сочетания /mp/, /bl/, /ns/, ср. /comprar-/ , /ablar-/ , которые не встречаются в конце слов, т. е. морфемы с указанным аусласом должны быть сочтены непроизносимыми [Hooper 1976: 189].

Принципиально непроизносимы все неслоговые морфемы, ср. /45//46/ рус. /mzd-/ (мзда), /-n-/ (вынуть) и многие другие. Это относится к абсолютному большинству корней семитских языков.

Соответственно, если мы примем правило Веннеманна — Стемпа, то это будет иметь весьма серьезные отрицательные последствия для многих языков⁸.

4.5. На других основаниях отвергает принцип произносимости Дж. Хупер. «Я не вижу каких бы то ни было причин полагать, — пишет она, — что словарные (lexical) формы являются произносимыми до применения фонологических правил, так как единственная и уникальная функция фонологических правил заключается в том, чтобы придать морфемам произносимую форму» [Hooper 1976: 126]. Отказ от принципа произносимости, вообще говоря, нужен Хупер для того, чтобы ввести в словарную запись морфем неполностью специфицированные фонологические сегменты — единицы типа архифонем. Естественно, что архисегменты в принципе непроизносимы (нельзя произнести, например, согласный, релевантной характеристикой которого является отсутствие указания на место образования или на звонкость/глухость).

У идеи архисегментной записи есть два основных источника. Первый и ближайший — постулаты ортодоксальной генеративной фонологии, как они выработаны Н. Хомским и М. Халле [Chomsky, Halle 1968; Halle 1962]. Согласно одному из важнейших постулатов в словарной записи морфемы оставляются «пробелы» для всего — будь то дифференциальный признак или сегмент, — что предсказуемо каким-либо правилом через указание на контекст и в этом смысле выступает как избыточное. Вероятно, наиболее известный пример — полное отсутствие

⁸ Если прибегнуть к иному прочтению правила произносимости, где последняя трактовалась бы как «произносимость в каком-либо контексте», то этот принцип окажется приемлемым для случаев типа /rog/, /kod/ (они не являются абсолютно непроизносимыми), но по-прежнему им не охватываются случаи наподобие /xolod/. Трудно сказать, правомерно ли такое прочтение принципа произносимости по отношению к корням семитских языков.

фонологической характеристики английского /s/ в начальных сочетаниях: поскольку это единственно возможный согласный перед другим «настоящим» согласным (т. е. не сонантом и не глайдом) в начале морфем, то вся фонологическая характеристика сводится к признаку [+ согласный] (в другой редакции — [+ сегментный]). Для того чтобы вывести текстовые реализации морфем, в словарной записи которых присутствует такой неспецифицированный сегмент, используется правило:

$$[+ \text{ согласный}] \rightarrow \left[\begin{array}{l} - \text{ гласный} \\ + \text{ передний} \\ + \text{ корональный} \\ + \text{ резкий} \\ + \text{ непрерывный} \\ - \text{ звонкий} \end{array} \right] / + \text{ — } \left[\begin{array}{l} + \text{ согласный} \\ - \text{ гласный} \end{array} \right] \quad 9$$

/46//47/

Правило перечисляет все признаки /s/, кроме согласности, т. е. говорит о том, какой согласный должен быть на том месте, где сказано, что здесь — согласный, но не уточнено — какой именно. Мы не хотим обсуждать сейчас резонность такой техники представления морфем в словаре, нам важно выяснить логику морфонологического описания, принятого в большинстве современных работ. Согласно такой логике можно (и нужно) использовать в словарных записях морфем единицы типа архисегментов.

Другой источник появления фонологически неопределенных единиц в словарных записях морфем — это соединение идеи маркированности/немаркированности фонем с представлениями натуральной фонологии.

Первым, по-видимому, поднял проблему маркированности/немаркированности в интересующем нас сейчас контексте С. Шейн. Он начал с рассмотрения того, какой должна быть словарная запись французской морфемы *vendre*. Поскольку Шейн не считает носовые гласные фонологичными, возводя их к сочетаниям чистых гласных с носовыми согласными, перед ним возникла проблема фонологического статуса [ã] в *vendre*: следует записать в этой позиции /an/ или /en/? Данная морфема не участвует в чередованиях, которые позволили бы остановиться на том или ином варианте, ср., в отличие от этого, [ã] из *en*, где постулируется глубинное сочетание /an/ на основании примеров типа *en un instant*. Причем, замечает Шейн, в данном случае «невозможно оставить неизвестную гласную не специфицированной (как с точки зрения признака низкой тональности, так и с точки зрения признака компактности), так как

⁹ Знак «плюс» как обозначение контекста в правой части правила указывает на морфемную границу.

такая гласная совпала бы с /ɛn/. Иначе говоря, нет архифонемы, которая включила бы /ɛn/ и /an/ при исключении /ɛn/ [Shane 1968: 714].

В этих условиях, когда отсутствуют основания для выбора, Шейн предлагает остановиться на немаркированном варианте, в данном случае — /an/.

Само по себе использование принципа выбора немаркированного варианта еще не приводит, как мы видим, к полностью специфицированным единицам. Приведем еще один пример. В испанском языке место образования носового согласного перед другим согласным определяется этим последним; ср. [bomba], [donde], [ganga], и т. п.¹⁰. Коль скоро это так, предлагается в словарной записи везде указывать немаркированный сегмент, т. е. /bonba/, /donde/, /ganga/, а одним из фонетических правил вводить согласование соответствующих сегментов по месту образования.

Однако фонологи натурального направления возражают против такого решения: с фонетической точки зрения для носо-~~/47//48/~~вого естественно ассимилироваться последующему смычному, поэтому сочетания /nb, ng/ неестественны¹¹. Поступиться принципом, настаивающим на исключении из фонологической (морфонологической) записи всех предсказуемых признаков, фонологи-натуралисты не считают возможным, поэтому выход усматривается во введении архисегментов. В этом случае испанские примеры, приведенные выше, должны получить запись вида /boNba/, /doNde/, /gaNga/, где /N/ — носовой согласный неопределенного места образования [Hooper 1976: 137]¹². Таким образом, к идее использования архисегментов приходят «через» понятие немаркированности, от которого в итоге отказываются¹³.

¹⁰ Подобная тенденция, хотя и не столь четко выраженная, отмечена во многих языках, в том числе и в русском [Аванесов 1966].

¹¹ Между прочим, здесь хорошо видна относительность понятия естественности, отстаиваемого школой натуральной порождающей фонологии: ведь наряду с широкоизвестными ассимилятивными тенденциями, на которые ссылаются натуралисты, достаточно распространены и прямо противоположные им диссимилятивные (ср. рус. прост, *бонба*, *транвай*, *анпиратор*). Если ассимиляцию можно объяснить собственно фонетическими причинами как проявление антиципации последующего согласного, то диссимиляция требует иных объяснений — скорее всего, фонологических, связанных с тенденциями к максимизации синтагматических контрастов.

¹² Аналогичное решение распространяется и на собственно морфонологическое варьирование, например, неопределенный артикль *un*, согласная которого меняет место образования в зависимости от консонантного анлаута последующего слова, также получает словарную запись /uN/ [Hooper 1976: 182].

¹³ Вообще говоря, промежуточный этап, в теоретическом осмыслении проблемы, на котором фигурирует обращение к понятию немаркированности, отнюдь не носит принципиального характера: в рамках ортодоксальной порождающей фонологии вместо немаркированной /n/ можно было бы сразу использовать признаковую

4.6. Нам представляется, что в рассмотрении проблем, связанных с целесообразностью использования неполностью специфицированных сегментов, архисегментов, немаркированных сегментов, происходит известное смещение понятий. В самом деле, какие языковые реальности должна отражать словарная запись морфем? Очевидно, словарная запись морфем — это компонент системы языка, отражающий иерархию вариантов морфем с точки зрения фонологического облика их экспонентов. При психолингвистическом рассмотрении вопроса мы могли бы сказать, что носитель языка владеет всеми вариантами морфемы, т. е. умеет обращаться с ними, но один из вариантов выдвигается на первый план, как могущий служить исходным для новообразований. Иначе говоря, то, что для лингвиста — прием организации материала, для носителя языка — владение связями между разными вариантами одной морфемы и выделение одного из них (а иногда целой упорядоченной структуры вариантов, см. с. 72–73) как источника потенциальных новообразований¹⁴.

/48//49/

В работах фонологов натуральной школы вводится в противоположность ортодоксальной позиции Хомского — Халле «условие подлинной генерализации», согласно которому «правила, вырабатываемые носителями языка, непосредственно основаны на текстовых (surface) формах, и... эти правила соотносят одну текстовую форму с другой, а не глубинную с текстовыми» [Hooper 1976: 13]. Если все формы, т. е. варианты морфем, в конечном счете являются текстовыми, то должно быть ясным, что в тексте нет архисегментов, нет сегментов, не охарактеризованных по какому-то признаку¹⁵. Достаточно ясно также, что в словаре носителя языка морфемы обычно представлены во вполне определенной фонологической форме, во всяком случае, здесь не может быть морфем «с пропусками» в фонологической характеристике.

матрицу с пропущенными значениями признаков, ответственных за определение места образования носовых согласных (имеем в виду обсуждавшийся выше испанский материал).

¹⁴ В том, что касается морфем, носитель языка сравнительно редко строит новые конструкции — чаще воспроизводятся готовые последовательности морфов. Но гибкость языковой системы, ее открытость состоят, в частности, в том, что на основании наличных связей между морфемами, их вариантами носитель языка может, в случае необходимости, образовать новую морфемную (морфную) конструкцию, понятную другим носителям языка, ср. опыт Дж. Миллера с предъявлением новообразования *understander* носителям английского языка [Миллер 1968].

¹⁵ Сказанное справедливо, если ориентироваться на полный тип произнесения [Бондарко и др. 1974], но Хупер вводит близкое к этому ограничение (хотя и не формулируемое строго), требуя отпращиваться от «наиболее эксплицитных форм» [Hooper 1976: 112].

Таким образом, введение в языковую систему морфем, в которых фигурируют неполностью специфицированные (или даже совсем лишенные признаков) фонемы, неприемлемо.

Если этот способ описания неприемлем «с точки зрения» языковой системы, то тем самым он непригоден и в плане порождения речи, поскольку в речепроизводстве используются только те единицы, которые есть в языковой системе.

Существует ли аспект, применительно к которому идеи, связанные с оперированием «недоопределенными» единицами, могли бы приобрести какую-то степень адекватности? Такой аспект — восприятие речи. Пожалуй, удивительно, почему это соображение не очевидно для генеративных фонологов. Уже обращение к понятию избыточности (ср. гл. I, 7) предполагает, что имеется в виду аспект, связанный с характеристиками воспринимаемого текста: избыточность — свойство сообщения, т. е. текста¹⁶. Когда некоторый признак или единица квалифицируются как избыточные, то это и означает, что сообщение может быть (в некоторых условиях) адекватно интерпретировано без обращения к данному признаку или единице. Из этого не следует, кстати, что такие признаки (единицы) не будут фигурировать в окончательной форме сообщения, принятого воспринимающим речь субъектом: каждая морфема имеет вполне определенную форму, но опознана она может быть в условиях избыточности по части признаков, т. е. без использования некоторых из них, которым — в этом и только в этом смысле — соответствует «пропуск». «Пропуск», таким образом, имеет чисто перцептивную природу и никак не относится к морфонологии, к той ее части, которая занимается установлением основных вариантов морфем (см. также [Касевич 1983b]).

Итак, совпадение основного варианта морфемы с одним из текстовых (записанных фонологически) должно быть буквальным.

5. В заключение обратимся к содержательным аспектам проблемы выбора основного варианта морфемы. В начале главы уже говорилось о том, что существует определенный параллелизм между грамматическими (формообразовательными и словообразовательными) и морфонологическими отношениями, хотя его никак не следует абсолютизировать. Х. Андерсен (см. [Bybee, Brewer 1980]), основываясь на некоторых замечаниях Р. Якобсона [Jacobson 1971], отстаивал тезис о параллелизме в отношениях между означающими, с одной стороны, и означаемыми — с другой. Говоря об этом, Т. Веннеманн утверждал: «В естественных языках деривационные отношения между содержательными категориями в семантике — от исходных (primitive) к производным —

¹⁶ Правда, можно говорить и об избыточности системы, но в этом случае следовало бы изучать меру сложности системы фонем, а это — вполне самостоятельный аспект.

обычно отражаются аналогичными им отношениями в области грамматики (syntax) и морфофонологии» [Vennemann 1972: 240].

Можно заметить, что такого рода представления объективно восходят к имеющей почтенную историю традиции, известной уже у ученых александрийской школы, которые, в частности, постулировали изоморфизм формы и содержания (с чем связывалось понятие аналогии в противоположность понятию аномалии). Изоморфизм, как мы видим, понимался в этом случае не как идентичность структур, устройства двух или более систем, а как параллельность конкретной формы тому содержанию, которому она соответствует. По существу, прямо противоречит этим взглядам положение об асимметричности языкового знака, утверждающее отсутствие параллельности планов выражения и содержания.

Как показывает история науки вообще и лингвистики, быть может, в особенности, та или иная концепция нередко оказывается неприемлемой не потому, что она неадекватно объясняет факты, но потому, что она претендует на объяснение всех фактов — в то время как реально отражает лишь их часть, «оставшаяся» же часть лучше поддается интерпретации с позиций другой, зачастую противоположной, конкурирующей концепции. Так, по-видимому, обстоит дело и с обсуждаемой здесь проблемой: в языках действительно можно усмотреть тенденцию к параллелизму в грамматических и фонологических (морфофонологических) отношениях, но из этого никак не следует, что в каждом данном случае такой параллелизм /50//51/ будет обязательно присутствовать — отношения, в частности отношения производности, могут быть и прямо противоположными морфофонологическим связям, наконец, какая-либо систематическая соотнесенность собственных закономерностей двух типов (грамматических и морфофонологических) может вообще отсутствовать. Некоторые примеры такого рода уже приводились (с. 24).

5.1. Как нам представляется, одно из наиболее обстоятельных и глубоких исследований данной проблемы на конкретном материале (испанский и провансальский языки с их диалектами) было выполнено недавно Дж. Байби (Хупер) и М. Брюэр [Bybee, Brewer 1980]. Развиваемая ими концепция выходит за рамки вопроса о направлении морфофонологической производности, и мы еще вернемся к их взглядам в главе VII, посвященной морфофонологии слова; сейчас же выделим лишь некоторые наиболее важные, с нашей точки зрения, положения.

Первое из них относится к неединственности основного, исходного члена морфофонологической парадигмы и отвечающей этому неединственности основного варианта морфемы (ср. ниже, с. 73). Иначе говоря, вместо обычной картины выбора одного основного варианта и порождения всех остальных по правилам авторы предлагают устанавливать определенную иерархию форм слова, которая находит отражение в воспроизводящей ее

иерархии чередований и других морфонологических изменений морфем. Соответственно в работе наших авторов говорится не об основных и производных (контекстуальных) вариантах морфем, а об автономных и неавтономных словоформах: автономные входят в словарь, неавтономные производятся по правилам из автономных; в пределах парадигмы может быть более одной автономной словоформы (автономного слова, по терминологии Байби и Брюэр).

Автономные формы устанавливаются исходя из меры семантической сложности, частотности и иррегулярности: чем семантически проще, частотнее и иррегулярнее форма, тем больше у нее шансов на роль автономной. Согласно Байби и Брюэр, предпочтительными кандидатами на роль автономных форм в глагольной парадигме являются формы 3-го л. ед. ч. настоящего времени индикатива. Утверждается, что именно формам, характеризуемым указанными морфонологическими категориями, свойственна и относительная семантическая «простота», и большая частотность, и иррегулярность. Приводятся и некоторые диахронические и психолингвистические свидетельства в подкрепление данного тезиса. Так, со ссылкой на В. Маньчака сообщается, что в разных языках обычно формы ед. ч. 3-го л. настоящего времени индикатива выступают не только как более частотные, но и наиболее «стойкие» в диахронии; они сохраняются без изменений и тогда, когда другие формы той же парадигмы претерпевают в ходе исторической эволю-^{/51/52/}ции те или иные изменения [Bybee, Brewer 1980: 217–218]. Для наиболее частотных форм характерна также иррегулярность. Обратной стороной является то обстоятельство, что иррегулярные формы рано усваиваются детьми и опять-таки оказываются наиболее устойчивыми [Bybee, Brewer 1980: 219–222].

В результате авторы приходят к следующему выводу: «Формальная организация парадигмы воспроизводит [ее] семантическую организацию таким образом, что формы, более близкие семантически, будут более близкими и по [своему] морфонологическому облику. Так, две формы, обладающие большим числом общих семантических признаков, будут соотноситься таким образом, что менее автономная из них производится из более автономной основной формы» [Bybee, Brewer 1980: 225].

Для парадигм испанского и провансальского претерита Байби и Брюэр устанавливают два основных типа иерархического соотношения (схемы 3 и 4), которые, как предполагается, одновременно отражают и грамматико-семантические, и морфонологические связи в парадигме [Bybee, Brewer 1980: 226].

Схема 3

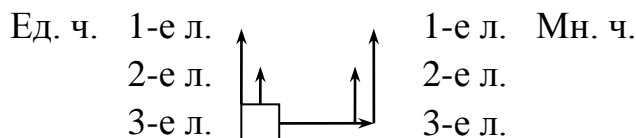
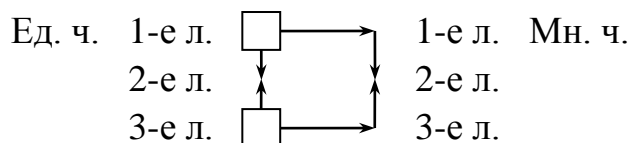


Схема 4



Квадрат соответствует автономной форме, стрелки показывают направление производности как морфологической, так и морфонологической. То же для схемы 4.

Схема 3 может быть проиллюстрирована парадигмой претерита в литературном провансальском:

Ед. ч.	1-е л.	parlére	parlérian	1-е л.	Мн. ч.
	2-е л.	parléres	parlérias	2-е л.	
	3-е л.	parlé	parléron	3-е л.	

Схеме 4 отвечает парадигма претерита литературного (кастильского) испанского:

Ед. ч.	1-е л.	dormí	dormimos	1-е л.	Мн. ч.
	2-е л.	dormiste	dormisteis	2-е л.	
	3-е л.	dormió	durmiéron	3-е л.	¹⁷

5.2. Представления, развиваемые Байби и Брюэр (лишь некоторые их аспекты кратко освещены выше), продуктивны для установления отношений между морфологическими формами, где максимально учитываются как содержательные, так и формальные связи словоформ, а отсюда и морфем в их составе. Делается попытка взамен слабо мотивированных чисто фонологических «квазидериваций» алломорфов ввести интерпретированные морфологически и фонологически связи морфемных структур — словоформ, функционирующих как целостные образования.

Вместе с тем в связи с рассмотренным фрагментом концепции Байби — Брюэр кажется необходимым сделать следующие критические замечания.

Во-первых, вызывает сомнение положение об исходности («большей автономности») иррегулярных форм: принцип «чем иррегулярнее, тем автономнее». Хотя такие формы, как правило, действительно

¹⁷ Возможно, форму 2-го л. мн. ч. здесь следовало бы производить непосредственно из формы 2-го л. ед. ч., как это имеет место для 1-го л. и 3-го л. (что противоречило бы типу иерархии, устанавливаемому Байби и Брюэр).

высокочастотны, устойчивы к диахроническим изменениям, они чаще всего вообще не должны рассматриваться в морфонологии, поскольку по своему фонологическому облику никак не могут быть связаны с другими формами той же парадигмы. Когда же делаются попытки связать эти формы фонологически с другими (безразлично, при каком направлении производности), то, как мы видели, это ведет к установлению крайне искусственных морфонологических правил и/или введению «абстрактных» фонем в словарной записи морфем, против чего резонно протестовал один из авторов анализируемой здесь статьи в своей предыдущей монографии (см. об этом выше, с. 40). Правда, авторы пишут, что «в случае полной супплетивности, как в англ. *go* — *went*, безусловно необходимо [введение] отдельных словарных (lexical) единиц» [Bybee, Brewer 1980: 217], но и сам принцип иррегулярности в качестве критерия морфонологической автономности едва ли может быть принят без серьезных оговорок.

Во-вторых, при определении тесноты морфонологических связей между членами парадигмы авторы иногда, пожалуй, решают этот вопрос чересчур механически. Для испанского диалекта области Бьелса в парадигме претерита (которая отклоняется по своему типу от представленных на схемах 3 и 4) Байби и Брюэр группируют формы следующим образом: *llevé, llevémos, llevéz* и *llevóres, llevó, llevóren* (1-е спряжение), /53//54/ *metié, metiémos, metiéz* и *metióres, metió, metióren* (2-е и 3-е спряжения) [Bybee, Brewer 1980: 235]. Создается впечатление, что производится механическое «наложение» форм и те, в которых больший по протяженности отрезок совпадает, функционально сближаются в пределах парадигмы. Однако чисто внешнее совпадение может и не иметь функциональных импликаций. Скажем, наличие согласного *m* в окончаниях творительного падежа как единственного, так и множественного числа в существительных 2-го склонения (*столом, столами*), но только во множественном существительных 1-го склонения (*рукой, руками*) вряд ли что-то говорит о внутрипарадигменных связях. Придавая чересчур большое значение чисто внешним совпадениям/несовпадениям, авторы, по существу, входят в противоречие с отстаиваемым ими (вполне справедливым и ценным) тезисом о том, что слово изменяется как целое: получается, что не только само слово, но даже морфема-окончание не рассматривается как целостное образование, коль скоро основанием для сближения форм принимается, скажем, наличие *-é-* в окончаниях *-é, -émos, -éz* (*metié, metiémos, metiéz*).

В-третьих, у Байби и Брюэр везде идет речь об автономных словах, в то время как корректнее было бы говорить о словоформах: даже супплетивные образования, тем более — морфонологически отклоняющиеся (иррегулярные), являются словоформами, а не самостоятельными лексемами, если они заполняют определенные «места» в парадигме, противопоставляясь регулярным формам и имея регулярно

образующиеся функционально-семантические параллели в других субпарадигмах. И это отнюдь не исключает возможности их вхождения в словарь на правах самостоятельных вокабул, на чем справедливо настаивают авторы (и что, кстати, вполне соответствует обычной лексикографической практике): вопреки самому термину «словарь», принцип включения той или иной единицы в последний не отражается вопросом «слово или не слово?», но вопросом «можно ли данную единицу вывести по правилам?». При отрицательном ответе на такой вопрос единица должна включаться в словарь, даже если она является не словом, а словоформой (или, скажем, фразеологизмом).

Ниже мы еще вернемся, преимущественно на материале русского словообразования, к обсуждению вопроса о связи грамматических и морфонологических процессов, но уже с точки зрения иерархичности чередований (гл. III, с. 58–59).

Глава III

МОРФОНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРАВИЛА

1. Морфонологические правила допускают классификацию с разных точек зрения [Маслов 1979]. Возможно, наиболее простая классификация может быть основана на типе изменения, которое вызывается применением морфонологического правила. С этой /54//55/ точки зрения целесообразно различать альтернации (чередования), элизии (опущение одной или более фонем), аугментации (добавление одной или более фонем)¹ и метатезы (перестановки фонем). Элизии, в свою очередь, можно подразделить на два типа: усечения и дизрезы. Элизия маргинальных фонем, входящих в экспонент исходного варианта морфемы, начальных или конечных, — это усечение, начальное или конечное соответственно. Элизия срединных фонем — дизреза. Аналогично этому аугментации также имеют две разновидности: наращения — прибавление маргинальных фонем, начальных или конечных (начальное/конечное наращение соответственно) и эпентезы — появление «дополнительных» фонем «внутри» экспонента морфемы по сравнению с ее исходным вариантом.

Альтернации — наиболее известные морфонологические процессы и соответственно правила. Существует тенденция сводить к чередованиям едва ли не все морфонологические процессы. Основное средство для этого — введение категории морфонологического нуля. Так, в русистике принято выделять чередования с нулем, например, смену варианта *котел* вариантом *котл-* (*котла*, *котлу* и т. д.) объясняют чередованием /o/ ~ /Ø/.

Однако чередоваться могут только единицы одного плана, поэтому если мы говорим о чередовании /o/ ~ /Ø/, то объективно мы тем самым вводим нулевую фонему в фонологическую систему русского языка, так как самим признанием чередования /o/ с нулем мы придаем этому последнему однопорядковый с /o/ статус фонемы. Но говорить о нулевых фонемах в русском языке как языке неслоговом нет оснований [Kasevich, Speshnev 1970]². Поэтому в русском языке (в любом неслоговом) не может

¹ Термины «элизия» и «аугмент», «аугментация» обычно употребляются в более узких значениях (элизия, например, — применительно к опущению конечного гласного в определенных условиях); мы используем их как синонимы всякого опущения и добавления фонем в контекстуальном алломорфе по сравнению с исходным (в синхронии).

² Имеются определенные основания вводить в фонологию неслоговых языков (как, впрочем, и слоговых) не нулевую фонему, а особый нулевой фонологический элемент: это пауза. Действительно, коль скоро возможно (факультативное) противопоставление типа *собаку видел* ~ *собак увидел*, осуществляемое за счет

быть чередования с нулем. Коль скоро выпадение беглого гласного не есть чередование с нулем, его надо трактовать как элизию — опущение фонемы. Это понятие будет рассмотрено далее.

2. Очень важен и сложен вопрос о направлении чередований и их иерархическом соотношении. Так, традиционно гово-^{/55//56/}рят о чередованиях типа $k \sim \check{c}$, или, точнее, $k \rightarrow \check{c}$ в *батрак* \rightarrow *батрачить* и т. п. Имеется и понятие «обратного» чередования $\check{c} \rightarrow k$, ср. *стучать* \rightarrow *стук*. Уже сам по себе эпитет «обратное» подразумевает, во-первых, существенность направленности чередования, и, во-вторых, иерархическую соотнесенность чередований: чередование $k \rightarrow \check{c}$ предстает как бы исходным, естественным, а $\check{c} \rightarrow k$ — инвертированным.

Ясно, что установление направления чередования самым тесным образом связано с выбором основного варианта морфемы, с морфонологическим соотношением характеризуемых чередованием форм, что обсуждалось в гл. II. Приведенные примеры еще раз подтверждают неоднозначность ситуации. Наличие k в обоих случаях (*батрак* — *батрачить* и *стучать* — *стук*) характеризует существительное, а \check{c} — глагол. Вместе с тем в *батрак* — *батрачить* морфологически (словообразовательно) исходной формой выступает существительное, производной — глагол, а в *стучать* — *стук* соотношение противоположное.

Можно было бы посчитать, что в корнях глаголов типа *стучать*, *бежать*, *рожать*, *слушать*, *мешать* основные варианты представлены морфами с аусласом $-k$, $-z$, $-d$, $-x$ соответственно, и существует правило, согласно которому эти согласные переходят в $-ч$, $-ж$, $-ш$ перед $-ать$. Однако этому мешает существование глаголов *тащить*, *бегать*, *свисать*, *махать* и др., где в тех же условиях аналогичного перехода нет. Между тем отсутствуют случаи, когда при бессуффиксальном образовании существительного от глагола удерживались бы $-ч$, $-ж$, $-ш$ — хотя $-k$, $-z$, $-d$, $-c$, $-x$ сохраняются: ср. *бег* (с автоматическим дальнейшим переходом $-z$ в $-к$) *вис*, *мах* и т. п.

Оговорка относительно бессуффиксальности здесь важна. От *разрушать*, например, можно получить и бессуффиксальное существительное *разруха* с $-x$ в аусласе корня, и суффиксальное *разрушение*, где в той же позиции имеем $-ш$. Из этого следует, что выбор варианта корня регулируется не самой по себе частеречной

изменения позиции паузы, пауза фонологична. Как и всякий фонологический элемент, пауза имеет функциональную, а не физическую природу; физически она сплошь и рядом выражается не перерывом звучания, а типом изменения мелодики и других просодических характеристик, появлением тех или иных вариантов соседствующих гласных или согласных. Фонология и фонетика паузы изучены еще недостаточно. Ясно, однако, что когда говорят об участвующем в чередованиях фонологическом (морфонологическом) «нуле», то к паузе это отношения не имеет.

принадлежностью или типом деривационного процесса, но совместно типом деривационного процесса и морфемным контекстом.

В русском языке чрезвычайно распространено, хотя еще далеко не описано (и фактически даже не признано в полном объеме), словообразование по конверсии, или без помощи специальных словообразовательных средств (подробнее см. ниже, гл. IV, с. 75–77). Слова, образованные безаффиксальным способом, в силу этого оказываются морфологически «простыми», несмотря на свою деривационную и семантическую производность. Поскольку морфонология функционирует прежде всего в пределах морфологического уровня, она может «реагировать» на морфологическую «простоту» так же, как на семантическую и словообразовательную исходность. Иначе говоря, /56/57/ морфологическая простота — безаффиксальность или же нуляффиксальность — с морфонологической точки зрения может приравниваться к исходности: морфологически «простые» и семантически/словообразовательно исходные единицы могут обслуживаться одним и тем же набором морфологических средств, которые являются морфонологически исходными.

Именно этим, вводя одновременно эксплицитные представления об иерархичности чередований и их членов, можно объяснить обсуждаемый здесь материал. Существительные *стук, роды, бег, помеха* и т. п. все образованы от глаголов по конверсии, т. е. без помощи специальных словообразовательных аффиксов. Поэтому они обладают с морфонологической точки зрения «простотой», сравнимой со словообразовательной исходностью. А это, в свою очередь, потенциально соотносит их корни с морфонологическими средствами, которые выступают как исходные в сфере морфонологии.

В этой последней сфере по отношению к *ч* как члену чередования *к* выступает в качестве исходного члена; аналогичны отношения между *ж* и *г* или *д*, *ш* и *с* или *х* и т. п. Соответственно корни бессуффиксальных отглагольных существительных оформляются указанными исходными членами морфонологических чередований, или альтернативных рядов [Бернштейн 1968; 1974], т. е. так же, как корни существительных, которые служат мотивирующими основами для производных глаголов.

В целом можно говорить о пяти соотносящихся категориях: трех морфологических (корни непроизводных слов, корни производных морфологически «простых», корни производных аффиксальных слов) и двух морфонологических (исходные члены альтернативных рядов и неисходные члены). Под членом чередования, или альтернантом, здесь имеется в виду любая фонема, которая реально участвует в чередованиях в составе данной морфемы или же в принципе может чередоваться в экспонентах каких-либо других морфем. Соответственно, как исходные, так и неисходные члены чередований подразделяются на две субкатегории

— *исконные* и *неисконные*: если фонема занимает данную позицию в данной морфеме в результате чередования, то она считается *неисконной*, в противном же случае — *исконной*.

Как же соотносятся друг с другом эти категории? Можно выделить 10 типов соотношений между ними: (1) морфологическая *непроизводность* — морфонологическая *исконная исходность* (*батрак, квас, золото*); (2) морфологическая *непроизводность* — морфонологическая *исконная неисходность* (*луч*); (3) морфологическая «простая» *производность* — морфонологическая *неисконная неисходность* (*голь, дичь, батрачить*); (4) морфологическая «простая» *производность* — морфонологическая *неисконная исходность* (*стук, помеха, умолк*); (5) морфологическая «простая» *производность* — морфонологическая /57//58/ *исконная исходность* (*золотой*); (6) морфологическая «простая» *производность* — морфонологическая *исконная неисходность* (*сивучий < сивуч*); (7) морфологическая *аффиксальная производность* — морфонологическая *неисконная неисходность* (*сочный, слушок*); (8) морфологическая *аффиксальная производность* — морфонологическая *неисконная исходность* (*щелка, кровушка*); (9) морфологическая *аффиксальная производность* — морфонологическая *исконная неисходность* (*шинелька, долька*); (10) морфологическая *аффиксальная производность* — морфонологическая *исконная исходность* (*квасной*). По естественным причинам в этой схеме реализуются не все возможные комбинации признаков: как вполне понятно, невозможна морфонологическая *неисконная исходность* или *неисходность* при морфологической *непроизводности* и т. п.

Распределив материал русского языка по классам, соответствующим установленным 10-ти типам соотношения морфологических и морфонологических категорий, мы можем видеть, что связь между направлением чередований и грамматикой весьма непростая, но определенная системность в ней все же как будто бы имеется. Там, где морфологическая и морфонологическая *исходность/неисходность* расходятся, морфонологическая *исходность* тяготеет, как уже отмечалось выше, к морфологической «простой» *производности* (*стук, помеха* и т. п.)³. Однако это распространяется только на образование существительных от глаголов, когда же мы имеем дело с производством существительных от прилагательных, то направление морфологической и морфонологической *производности* совпадает (*дичь, сушь*). Таким образом, обнаруживается иерархия соотношений: в системе русского языка деривация «прилагательное → существительное», по-видимому, более маркирована, чем деривация «глагол → существительное», и это

³ Существуют и исключения: *ложь, ноша*.

оказывается важнее, чем ассоциированность морфонологической исходности с морфологически «простой» производностью.

Чтобы убедиться в связанности субстантивности и морфонологической исходности при образовании отглагольных существительных, обратимся к материалу некоторых аффиксальных дериватов. Любопытны с этой точки зрения закономерности чередований при производстве отглагольных существительных с суффиксами *-ун/-уш*. На первый взгляд здесь вообще отсутствует какая-либо система: с одной стороны, имеем *молчать* — *молчун*, *ворчать* — *ворчун*, с другой же — *волочить* — *волокуша*. Предположение о том, что существительные на *-ун/-уш* образуются от первой, презентной, основы (*волочить* — *волоку* — *волокуша*) не оправдывается, ибо представлены примеры типа *полоскать* — *полощу* — *полоскун* (*енот-полоскун*), *кричать* — *кричу* — *крикун*, *хлопотать* — *хлопочу* — *хлопотун*, *колотить* — *колочу* — *колотун*. /58/ /59/

Для объяснения этих фактов нам понадобится представление о ступенях чередований. Будем говорить, что исходные члены альтернативного ряда принадлежат высокой ступени чередования, а все неисходные распределяются по низким, которых может быть несколько. Соответственно при переходе от исходных альтернантов к неисходным имеет место понижение ступени чередования, а при обратном процессе — ее повышение. С учетом этих представлений мы можем сказать: для образования отглагольных существительных интересующего нас типа выбор мотивирующей основы — первой или второй — безразличен; но конечный согласный в существительном-деривате должен быть представлен альтернантом, который либо сохраняет ступень чередования (*ворчун*, *молчун*), либо поднимает ее, понижать же не может. Поэтому невозможны **сошунок* (*сосунок*), **стрижунок* (*стригунок*), **нешун* (*несун*). Отглагольные существительные, таким образом, ассоциированы и здесь с высокой степенью чередования, в них могут сохраняться альтернанты низкой ступени только в тех случаях, когда альтернанты высокой не представлены ни в одной из потенциально мотивирующих основ; но даже и здесь не исключен подъем ступени чередования, ср. *кричать* — *кричу* — *крикун*.

Итак, отглагольные существительные в целом тяготеют к морфонологической исходности, к высокой ступени чередований. Когда они к тому же образованы за счет морфологически «простых» способов, альтернанты высокой ступени становятся почти единственно допустимыми.

Возможно, и чередования типа *ч* → *к* в *стучать* → *стук* не стоит считать обратными, поскольку именно данное направление чередования мотивировано морфологической «простотой» и немаркированностью существительного в деривации «глагол → существительное».

В отличие от этого, в полной мере обратными являются чередования, в нашей классификации отраженные типом (8): *цель* → *целка*, *кровь* → *кровоушка*, *локоть* → *локоток*. В этих дериватах представлена максимальная морфонологическая «простота», т. е. исходность, которая выступает неисконной на фоне максимальной морфологической «сложности» — аффиксальной производности.

Правда, известны попытки и эти чередования представить прямыми, а не обратными. Для этого постулируется особая «тематическая морфема», которая присутствует в морфологически исходных формах, вызывая смягчение. Иначе говоря, эти формы объявляются глубинно содержащими твердый согласный, переходящий в мягкий под влиянием (в контексте) нулевой «тематической морфемы» [Phonologica: 335–349].

Здесь, по существу, используется генеративистского толка прием, когда осуществляется «подготовка под ответ», ориентированная к тому же на диахронию: сталкиваясь с различием в /59//60/ поведении аналогичных единиц, например, *цель* — *целка*, с одной стороны, и *шинель* — *шинелька* — с другой, исследователь постулирует «глубинную» морфологическую или фонологическую разницу между ними, здесь наличие/отсутствие палатализирующей нулевой морфемы, часто восстанавливая при этом утраченные в ходе исторического развития признаки (рефлекс так называемой *i*-основы для существительных с конечной палатализацией в нашем случае⁴). По существу, такого рода трактовка не дает объяснения фактам, но не потому, что наблюдаемое толкуется через ненаблюдаемое, а потому, что это последнее недоказуемо, и одно неизвестное интерпретируется через другое. Как мы старались показать выше, соотношение морфонологической и морфологической производности вряд ли можно свести к одному-единственному простому типу.

3. Неисходные члены чередований, как видно из предыдущего, мы связываем с определенными фонологическими признаками: палатализованные, шипящие всегда неисходны вне зависимости от морфологического статуса формы, в экспонент которой они входят; *-ч* в *луч* точно так же неисходен, как и в *дичь*. Едва ли есть смысл устанавливать чередования типа *ш ~ ш ~ ш* в *шабаш ~ шабашу ~ шабашишь*, исходя из того, что имеем *с ~ с' ~ ш* в *квас ~ квасить ~ квашу* и т. п. [Ильина 1980: 34]. В *шабаш ~ шабашишь ~ шабашу* чередование

⁴ При ортодоксально-генеративистском подходе тот же круг фактов интерпретируется принципиально сходным образом: либо как использование нулевой морфемы, которая особым правилом лексикализации реализуется в качестве фонологического признака основы (так называемое «фонологическое использование диакритических признаков»), либо как участие в глубинной фонологической структуре согласного типа йот, который вызывает палатализацию, сам же действием последующих правил устраняется (так называемое «диакритическое использование фонологических признаков») [Phonologica: 349].

просто отсутствует, и этому есть объяснение, не сводящееся к констатации наблюдаемых фактов: *ш* — неисходный альтернант, а еще точнее — конечный член альтернативного ряда. Когда морфема в процессе своего варьирования проходит через ступени чередований и «доходит» до алломорфа, характеризующегося наличием конечного члена альтернативного ряда, т. е. наименьшей его ступенью, дальнейшее чередование невозможно. Если же алломорф с конечным альтернантом является исходным, низшая ступень чередования исконно связана с основным вариантом, то варьирование «с точки зрения» данного чередования вообще невозможно. Морфеме *шабаш* «некуда» варьировать, для нее исконен вариант, который для других морфем выступает конечным пунктом варьирования. Поэтому Н. Е. Ильина совершенно права, фиксируя три ступени чередования для русских согласных *с ~ с' ~ ш*, *д ~ д' ~ ж*, но с ней трудно согласиться, когда она утверждает, что «фонемы /ч/, /ж/, /ш/... возможны на 1-й, 2-й и 3-й ступенях, поэтому их можно приравнять к любой из ступеней чередования» [Ильина 1980: 35]. /60//61/

Степень чередования — постоянная характеристика фонемы, участвующей в чередованиях. Она устанавливается на материале чередований, но закрепляется за соответствующими фонемами и остается их характеристикой также и в тех случаях, когда фонемы не заняты в чередованиях: системе чередований, как и системе фонем, присуща определенная автономность⁵.

Неучастие фонемы в чередованиях в тех морфемах, у которых существуют варьирующие аналоги, не следует трактовать как нулевое чередование⁶. Достаточно сказать, что ситуация использования функциональных нулей совершенно иная: о нуле мы говорим тогда, когда элемент некоторого класса должен входить в данную структуру (без него структура просто не существует), но материально не представлен, поэтому его отсутствие становится значимым, как в русских словоформах наподобие *стол*, *рук*. Что же касается отсутствия чередования в случаях типа *муж ~ о муже ~ мужья ~ мужеский* на фоне *друг ~ о друге ~ друзья ~ дружеский* [Клобуков 1976: 90], то, как сказано выше, согласный ауслота

⁵ Можно привести такую аналогию. Когда выясняется позиционная принадлежность аффикса, обычно в языке агглютинативного типа, то его так называемый порядок фигурирует как постоянная величина, вне зависимости от того, насколько разные позиции относительно корневой морфемы он может занимать в реальных морфемных структурах: собственный порядок аффикса — это номер его позиции при максимальном наборе аффиксов, все же другие возможные местоположения справедливо именуется «квазипорядками» [Ревзин, Юлдашева 1969].

⁶ Ср.: «Невыраженность чередования фонем в системе словоформ нельзя квалифицировать в качестве нулевого признака данных словоформ, ибо это отсутствие чередования в собственном смысле слова» [Попова 1971: 53].

морфемы *муж* не может чередоваться⁷, поскольку принадлежит к конечным альтернантам.

Остается вопрос: на каком основании устанавливается место, ранг фонем в альтернативном ряду, т. е. что служит критерием для определения альтернанта как исходного или неисходного, а среди неисходных как принадлежащего к той или иной ступени чередования?

По-видимому, для определения ранга альтернанта важны два аспекта — морфологический и фонологический. Первый заключается в следующем. Хотя, как мы имели возможность убедиться, соотношение морфологических и морфонологических характеристик достаточно сложно и неоднозначно, как правило, имеется статистически преобладающий, наиболее частотный тип связи между морфологической производностью/непроизводностью, с одной стороны, и фонологическими характеристиками слов (словоформ) — с другой. Так, в русском языке для *к*, *т*, *с*, всех твердых, несомненно, типичнее ассоциированность с морфологической непроизводностью, исходностью. Иначе говоря, чем чаще данный альтернант употребляется в морфологически /61//62/ исходных формах (основных в формообразовании, мотивирующих в словообразовании), тем больше вероятность его причисления к исходным.

Фонологический аспект связан с отношением маркированности, а также с фонологическим расстоянием между фонемами в парадигматике, определяемым числом различающих данные фонемы дифференциальных признаков. Морфонологической исходности, как правило, отвечает фонологическая немаркированность: твердые немаркированы относительно мягких и т. п. Чем выше ступень чередования, тем большее фонологическое расстояние отделяет ассоциированный с ней альтернант от альтернанта исходного: мягкие от твердых отличаются всего одним дифференциальным признаком, а шипящие от их исходных коррелятов — значительно большим фонологическим расстоянием.

4. Перейдем к обсуждению понятия элизии. Обращаясь к этому понятию, мы сталкиваемся с разграничением элизии и аугментации. Ясно, что когда два варианта морфемы отличаются наличием/отсутствием одной или нескольких фонем, то определение морфонологического процесса как элизии или аугментации зависит от направления морфонологической производности: если экспонент основного варианта обладает «более полным» составом фонем, то перед нами элизия, при обратном соотношении вариантов мы имеем дело с аугментацией. Отчасти эти вопросы уже анализировались в гл. II (с. 36–37). Отметим здесь, в частности, трудности с интерпретацией корней, обладающих беглыми гласными. Многие авторы записывают варианты типа *котл-* с нулевым

⁷ Мы отвлекаемся от автоматических чередований.

элементом: /kotØl/⁸. Очевидно, это означает, что основным вариантом должен считаться /kotl/ с оставленной позицией для вставки гласного, т. е. переход от /kotl/ к /kat'ol/ есть аугментация. Такое представление имеет свои преимущества, поскольку помечает определенным образом морфемы с беглыми гласными. Тем не менее, согласиться с ним нельзя. Во-первых, как уже говорилось, мы не имеем права вводить, нуль в фонологическую систему русского языка, а отсюда и в морфонологическую запись морфем. Во-вторых, если изъять нуль из морфонологической записи, соответствующий вариант придется выделять специальной пометой, т. е. исчезнет та экономия в диакритических средствах, которая достигалась путем использования нуля. В-третьих, при основных вариантах типа /kotl/ придется вводить даже не одну, а две пометы: одну для указания на переменность огласовки, другую — для уточнения характера этой огласовки (/o/ или /e/).

Таким образом, целесообразнее выбирать в качестве основного полногласный вариант, вводя специальную помету, указывающую на то, что к морфеме применимо правило элизии глас-*/62//63/*ной. Помета потребуется только одна, так как выбор устраняемой гласной для русского языка определяется правилами, опирающимися на тип морфонологической структуры морфем (ср. [Чурганова 1973: 46 и сл.]).

Аналогичным образом для суффиксов *-ушк-*, *-ечк-*, *-к-* основные варианты это *-ушек-*, *-ечек-*, *-ек-*, и применяемые к ним, морфонологические правила — правила элизии⁹.

По-видимому, в большинстве случаев, когда приходится выбирать между трактовками морфонологического явления в качестве элизии или аугментации, выбор бывает в пользу элизии: более полный вариант морфемы легче свести к сокращенному путем элизии, чем наоборот — путем аугментации. Поэтому, вероятно, основные варианты русских корней *мать-*, *дочь-* — это *матер'-*, *дочер'-*, то же относится к корням существительных типа *пламя* (основной вариант *пламен'-*) и т. п. Во французском языке для морфем, требующих обязательного связывания, имеет смысл устанавливать основной вариант с соответствующим согласным, т. е. /lez/ для *les* и т. п. Но морфемы, для которых связывание факультативно, ср. наречный суффикс *-ment* [Гордина 1973: 143], возможно, обладают основным вариантом без согласного. В этом последнем случае приобретение согласного при связывании будет аугментацией. Английские морфемы, которые приобретают /r/ перед

⁸ У некоторых авторов, в особенности зарубежных, встречается использование знака # вместо Ø [Ворт 1975; Лайтнер 1965; Уорт 1972; Garde 1978], который употребляется также для обозначения паузы как фонологического элемента.

⁹ Морфонологическая исходность в этом случае не совпадает с морфологической: морфологически исходный вариант слова — именительный падеж — содержит морфонологически вторичный вариант суффикса, ср. *стар-ушк-а*.

гласным анлаутом (имеется в виду британское произношение), также включают указанный согласный в свой основной вариант. Так, морфемы *flaw* /flɔː/ и *floor* /flɔː/ различаются своими основными вариантами — /flɔː/ и /flɔːr/.

Подлинные и несомненные аугментации наблюдаются там, где введение в состав основного варианта фонем, добавляющихся в сочетаниях, привело бы к очевидным нарушениям правил фонотактики данного языка, а также в случаях, когда появление «добавочной» фонемы явно объясняется процессами наподобие обязательного устранения хиатуса, образования гоморганных сочетаний с устранением «нулевого» анлаута и т. п. Первый тип, связанный с правилами фонотактики, можно иллюстрировать появлением /ŋg/ в английских словоформах с участием корней на /ŋ/ и суффикса компаратива, ср. /lɔŋ/ + /ə/ → /lɔŋge/. Принятие /lɔŋg/ в качестве основного варианта резко противоречило бы правилам фонологического оформления морфем в английском языке, согласно которым сочетание /ŋg/ встречается в инлауте, ср. /fɪŋgə/, но не в ауслауте. Поэтому /g/ — морфонологический аугмент. Устранение хиатуса находим, например, в корейском языке, где сочетания *ao*, *эй* и т. п. на морфемном шве переходят в *аво*, *эйи* соответственно [Рамстедт 1951]. Если в русских глаголах *жить*, *плыть* и под. в качестве исходной форм /63//64/ мы принимать вторую основу, а не первую (см. об этом с. 39 гл. II), то варианты *жив-*, *плыв-* следует также рассматривать как возникающие вследствие аугментации, устраняющей хиатус. В отличие от корейских примеров выше хиатус в русских словах имеет морфонологическую, а не фонологическую природу.

Появление аугмента может вызывать вопрос о его морфемной принадлежности. В английских примерах типа *longer* вопрос решается в пользу отнесения аугмента к экспоненту суффикса компаратива, т. е., иначе говоря, варьирует в данных условиях именно этот последний. К экспоненту корня /g/ нельзя отнести в силу уже упомянутых выше фонотактических ограничений. Если правила фонотактики позволяют отнести аугмент к любой из контактирующих морфем, необходимо привлечение дополнительных соображений для определения его места относительно морфемных границ. Трактовка аугмента как «остатка» от деления слова на морфемы [Bybee, Brewer 1980] не может быть принята, ибо она противоречит принципу безостаточной делимости любого фрагмента текста, любой единицы на единицы соответствующих самостоятельных уровней.

Аугментация может также сопровождать чередование, ср. положение в санскрите, где слоговые сонанты не просто заменяются в определенных условиях на свои неслоговые корреляты, но одновременно перед ними вставляются /a/ или /ā/, например, *varṣ-* ‘идти — о дожде’ (корень) → *varṣati*

‘идет дождь’. Впрочем, традиционно такого рода явления трактуются как «чистые» чередования, в которых фонема заменяется группой фонем, ср. русские чередования, представленные в парах *лепить* ~ *леплю*, *любить* ~ *люблю* и т. п. Для этого есть основания, так как такие комплексные морфонологические явления обнаруживают свою полную параллельность «простым» чередованиям в идентичных морфологических контекстах. Например, для санскрита можно составить пропорцию наподобие *vṛṣ-* ‘идти — о дожде’ : *varṣati* ‘идет дождь’ = *budh-* ‘знать’ : *bodhati* ‘знает’, а для русского языка аналогично *любить* : *люблю* = *ходить* : *хожу*.

5. Элизии, которые рассматривались выше, были преимущественно диэрезами. Для русского и других славянских языков особенно характерны и важны элизии-усечения.

Понятие усечения широко используется в русистике, хотя и получает разные толкования у разных авторов. Помимо вопроса о том, признавать или не признавать наличие усечения в конкретных грамматических процессах (см. об этом ниже), существенна следующая проблема: что подвергается усечению и какое это явление по преимуществу — морфонологическое или собственно-морфологическое?

Дело в том, что усечению могут подвергаться сегменты, имеющие несомненный морфемный статус, например, *заумный* → *заумь*, *бездарный* → *бездарь*, где усекается суффикс *-н-*, входя-^{/64//65/}щий в основу. В связи с этим возникает соблазн считать все усекаемые элементы морфемами, тогда усечение любого типа будет морфологической операцией.

Однако существуют многочисленные примеры, когда едва ли можно говорить о морфемном статусе таких элементов. В самом деле: есть ли основания считать морфемами *-к-* в *утка* (ср. *утиный*), *-е* в *декольте* (ср. *декольтированный*), *-у* в *Баку* (ср. *бакинский*), *-н-* в *темный* (ср. *темь*)?¹⁰ Кроме самого факта усечения, ничто не указывает на какую бы то ни было морфологическую отдельность данных отрезков, а об их семантизованности, что еще важнее, не может быть и речи.

Обратим внимание на то обстоятельство, что в работах по русскому языку принято говорить об усечении основы, а не корня. Это естественно: основа, как мы знаем, в грамматике языка типа русского играет совершенно особую роль, во многих отношениях несравненно более важную, чем роль корня. Коль скоро основа — относительно самостоятельная единица, притом в известной степени центральная для важнейших морфологических процессов, она должна характеризоваться определенной цельностью вне зависимости от своего состава, морфемной структуры, морфемной членимости/нечленимости. Поэтому кажется оправданным считать, что устранение суффикса, входящего в основу, как в примерах *заумный* → *заумь*, *бездарный* → *бездарь*, — это просто частный

¹⁰ Все примеры взяты из «Русской грамматики» [РГ: 423–427].

случай усечения основы: *-н-* здесь следует рассматривать не как суффикс, а как фрагмент («финаль») основы. Иначе говоря, более отвечает фактам не подведение всех усекаемых отрезков под категорию морфемы, а, наоборот, трактовка всех таких отрезков как безразличных к их морфемному/неморфемному статусу.

Одновременно это означает, что нет двух видов усечения — морфологического и морфонологического, а есть только один — морфонологическое. Заметим, что, признав усекаемые части основ морфемами, мы, вероятно, были бы вынуждены считать усечение особым морфологическим (словообразовательным) средством. Но усечение всегда происходит в определенном контексте, а обусловленность контекстом, сопутствующая роль — основные признаки именно морфонологических явлений. Эти явления мы описываем в терминах фонем в том смысле, что участники чередований, аугментации, элизий, метатез — фонемы, а не морфемы.

Усечению могут, конечно, подвергаться не только основы. Например, в литовском языке на стыке приставки и корня, проклитики или энклитики с полнозначным словом в определенных консонантных сочетаниях имеет место уподобление первого из согласных сочетания второму, после чего ассимилированный согласный выпадает, т. е. приставка (или клитика) подвергается /65//66/ усечению, например *ãt + daras* → *ãddaras* → *ãdaras* ‘открытый’, *kiek + gi* → *kiek gi* → *kiegi* ‘сколько же’ [Амбразас 1966: 507].

6. Не очень многое может быть сказано о метатезах. Здесь следует различать прежде всего метатезу как диахронический процесс и изменение порядка следования фонем, сопровождающее синхронические морфологические явления. Применительно к синхронии, кроме того, вряд ли законно говорить о метатезе дифференциального признака: морфонология имеет дело с фонемами, а не с дифференциальными признаками. Так, в санскритологии принято говорить о переносе придыхания, т. е. о своего рода метатезе различительного признака, ср. *bandh + sya + ti* → *bhantsyati* ‘свяжет’, где в данном контексте начальный согласный корня приобретает придыхание, в то время как конечный его утрачивает. Однако с морфонологической точки зрения, вероятно, корректнее трактовать такого рода изменение как комплексное (двойное) чередование, когда замена конечного придыхательного на непридыхательный с необходимостью влечет замену начального непридыхательного на придыхательный¹¹.

¹¹ Ср. так называемую диссимиляцию в древнегреческом по закону Грассмана, согласно которому придыхательный корня, обычно начальный, переходит в непридыхательный, когда в определенном контексте исконный непридыхательный корня, обычно конечный, заменяется придыхательным, где в разряд придыхательных попадает и щелевая согласная *χ*, например, *θρίξ* ‘волос’ → *τρικός* ‘волоса’, род. п.

Примеры подлинных метатез можно обнаружить, например, в литовском языке. В группах согласных *sk, šk, zg, žg* перед *t, d, k* при образовании некоторых глагольных форм порядок следования согласных изменяется, например, *blỹško* ‘бледнел’ — *blỹkšta* ‘бледнеет’ — *blỹkšti* ‘бледнеть’ [Амбразас 1966: 507]. В болгарском языке отмечается метатеза, меняющая местами нейтральный гласный с дрожащим или плавным сонантом: последовательность с первым гласным обусловлена контекстом перед гетеросиллабическим согласным, а с первым сонантом — перед таутосиллабическим согласным, например, *мльк ~ мълчание, връх ~ върхът* ([Маслов 1961: 58–59], см. также [Аронсон 1974: 192–195]).

Известны метатезы в семитских языках. В иврите метатеза заключается в том, что конечный согласный префикса *hit* и начальный согласный корня, если это — *z, s, š* или *š* меняются местами; одновременно могут происходить чередования, вызванные ассимиляцией по звонкости или эмфатичности, и аугментация — удвоение срединного согласного корня, ср. *hit + špk + a...ē → hištappēk* ‘разлиться’, *hit + šdq + a...ē → hištaddēq* ‘оправдаться’ [Гранде 1974: 336]. /66//67/

В ныне исчезнувшем корнском (корнуэльском) языке, как сообщают, компоненты конечной группы /lθ/ перед морфемой с гласным анлаутом менялись местами, например *whelth* ‘повествование’ → *whethlow* ‘повествования’ [Ultan 1978: 377].

7. Аугментации, элизии и, возможно, метатезы, подобно чередованиям, делятся на автоматические, неавтоматические регулярные и неавтоматические узуальные. Переходя от автоматических модификаций к неавтоматическим узуальным, мы наблюдаем увеличение свободы выбора между потенциально возможными вариантами фонологического оформления морфем. При автоматических модификациях обязательность выбора данного варианта практически абсолютна; там, где условия изменения экспонента морфемы носят фонологический характер, вариабельность, как правило, отсутствует. В языках, в которых наложен запрет на зияние, эпентеза согласных или полугласных, обычно типа /j/, /w/, гортанной смычки, обязательна, что можно было видеть выше на примере корейского языка.

Регулярные неавтоматические модификации могут иметь место в условиях, которые выступают как «квазифонологические»: хотя мотивировка выбора данного варианта морфемы внешне носит фонологический характер, она действительна только для определенного морфологического контекста, в ней отсутствует универсальность,

Закон Грассмана говорит о том, что древнегреческий корень не терпит двух придыхательных одновременно (аналогично положение и в санскрите), но избавление от второго (а с точки зрения направления производности — первого) придыхательного происходит в силу комплексного морфонологического чередования.

свойственная подлинно фонологическим условиям, независимым от морфологии. Например, в русском языке показатель возвратности *-ся* выступает в данном варианте после согласных (*мылся, стригся*) и в варианте *-сь*, т. е. с элизией гласного, после гласных (*мылись, стриглись*). Однако это не чисто фонологический контекст, так как нельзя утверждать, что невозможна последовательность типа «гласный + *ся*», ср., например, *неся*. Аналогично зияние в русском языке, как уже упоминалось, невозможно не вообще, а на стыке основы и окончания. Неавтоматические регулярные модификации имеют силу для определенных морфонологических контекстов, в пределах которых — но только в этих пределах — они являются обязательными.

Неавтоматические узуальные модификации предполагают уже класс не только морфонологических контекстов, но также и лексических, так как они действительны для одних слов и не используются в других. Например, усечение *-ос* при образовании прилагательных от существительных *космос, эпос* обязательно (*космический, эпический*), но производство аналогичных прилагательных от имен *осмос (осмотический), эрос (эротический)* осуществляется без усечения¹², лишь с чередованием /67/ /68/ *с* → *т*¹³. Здесь обязательность модификации, в данном случае усечения, имеет место лишь для конкретных единиц.

Обычно дебатруется проблема соотношения чередований, непосредственно выступающих средством выражения грамматических категорий, и чередований, лишь сопровождающих грамматические процессы, о чем довольно подробно говорилось выше (гл. I, с. 23 сл.). Но точно такие же параллели морфонологических и морфологических явлений можно усмотреть и на материале других модификаций экспонентов морфем. Если необусловленное чередование, наделенное грамматической семантикой, это внутренняя флексия, то аугментация-наращение, несущая грамматическую семантику, есть, в сущности, не что иное, как аффиксация, а усечение в тех же условиях — нулевая аффиксация. Морфонология в этом смысле выступает как вырожденная, т. е. десемантизованная морфология. Естественное различие между процессами этих двух типов заключается также в том, что

¹² Здесь, конечно, можно учитывать и морфонологические закономерности языков, откуда заимствованы соответствующие слова, но вне зависимости от источника с синхронической точки зрения эти слова принадлежат словарю русского языка и образуются по правилам, составляющим часть русской грамматики (в широком смысле последнего термина).

¹³ Само это чередование тоже узуально, а потому допускает известную свободу выбора. Так, еще недавно абсолютно преобладающей формой прилагательного от имени *апокалипсис* была *апокалиптический* — с усечением *-ис* и чередованием, сейчас же на первый план как будто бы выдвинулся вариант *апокалипсический*, без чередования. Пример показывает также возможность одновременного использования разных морфонологических средств.

морфонологические модификации не выходят за пределы данной морфемы, хотя и вызываются ее сочетанием с другими морфемами, морфологические же обязательно происходят в рамках целостного слова, заменяя или устраняя одну из морфем в его составе (точнее, в последнем случае, тоже заменяя ее на другую, только нулевую).

Морфонологические модификации могут быть мотивированы не только «материальным» контекстом — соседством той или иной морфемы с определенным фонологическим обликом, но также нулевыми аффиксами и безаффиксальной, т. е. конверсной, деривацией. Например, формы прошедшего времени м. р. ед. ч. от ряда русских глаголов образуются с помощью нулевой аффиксации, которая сопровождается чередованием гласных в основе (корне) слова, ср. *нес, вез, тряс*. Образование существительных от прилагательных типа *дичь, сушь, новь* осуществляется по конверсии, при этом обязательно чередование конечных согласных.

Любопытно образование некоторых катойконимов — оттопонимических существительных со значением ‘житель города (местности) X’. В русском языке много топонимов на *-ск* — обычно омертвевший суффикс, синхронно уже не являющийся самостоятельным морфологическим элементом. По существующему правилу при присоединении аффикса, образующего катойконим, *-ск* подвергается усечению: *Брянск* — *брянцы*, *Омск* — *омичи*, *Красноярск* — *красноярцы*. В некоторых случаях образование катойконима осуществляется по конверсии, т. е. без специального словообразующего средства, но усечение *-ск* происходит и в данной ситуации, хотя «материального» контекста, который мотивировал бы усечение, здесь нет. Примерами могут служить катойконимы *пустозеры* от *Пустозерск*, *красноборы* от *Красноборск*.

При образовании катойконима от топонима *Вытегра*, которое также осуществляется по конверсии, усечения не происходит, но имеет место эпентеза: *вытегоры*.

Производство катойконима *семиреки* от *Семиречье* сопровождается усечением и одновременно чередованием — заменой *ч* на *к*.

8. Особый и достаточно важный вопрос — релевантность упорядоченности морфонологических правил. Пожалуй, впервые в эксплицитном виде его поставили генеративисты и первоначально ответили на него положительно: по мнению Хомского, Халле и других, существенным свойством морфонологических правил является то, что они применяются в определенном порядке, каждое следующее правило имеет своим объектом результат, полученный действием предыдущего. Имеются и так называемые трансформационные циклы, которые заключаются в рекурсивном действии правил: после применения последнего из правил цикла снова вводится первое (если воспроизводятся условия, для которых правило действительно), и порождение формы проходит тот же цикл снова.

В последнее время, однако, часто высказываются сомнения в реалистичности понятия упорядоченности морфонологических (и иных) правил¹⁴. Так, Б. Дервинг пишет: «Даже если игнорировать основную проблему: какова психологическая интерпретация общего понятия „порождения“ форм ... какой психологический смысл может быть придан прежде всего понятию „упорядоченности“ правил, которое не имеет никакого отношения к реальному времени?» [Derwing 1979: 88–89].

Думается, что здесь следует различать собственно-лингвистический и психолингвистический аспекты. Первый может быть отражен вопросом: имеются ли факты, которые невозможно описать, не прибегая к понятию порядка применения правил?

8.1. Возьмем один из простейших случаев — образование превосходной степени прилагательных русского языка посредством суффиксов *-ейш-*, *-айш-*. Традиционно считается, что основным вариантом суффикса выступает *-ейш-*, а вариант *-айш-* употребляется после корней на заднеязычную согласную (см., например, [Гвоздев 1967: 237]). Известно также, что перед суффиксом супер-/69/70/латива конечные заднеязычные заменяются на коррелятивные им шипящие, ср. *высокий* — *высочайший*, *строгий* — *строжайший*, *тихий* — *тишайший*. При образовании превосходной степени от прилагательных с корнем на заднеязычные действуют, следовательно, два правила: замена *-ейш-* на *-айш-* и замена заднеязычных на шипящие. Есть ли основания утверждать, что эти правила применяются не одновременно (или в произвольном порядке), а только в одной строго определенной последовательности?

Для ответа на поставленный вопрос необходимо найти примеры, где суффикс *-айш-* или *-ейш-* присоединялся бы к корням с исходом на шипящую. Если присоединяется вариант *-ейш-*, то из этого должно следовать, что наличие шипящей не требует замены *-ейш-* на *-айш-*, она вызывается, стало быть, заднеязычными; иначе говоря, сначала вариант *-ейш-* заменяется вариантом *-айш-*, а уже затем заднеязычная чередуется с шипящей, т. е. для описания данного процесса введение представления о порядке применения правил необходимо. Если же окажется, что к корням с исходом на шипящие присоединяется вариант *-айш-*, то из этого должно следовать, что упорядочение двух правил не является обязательным, поскольку, с одной стороны, корни с исходом на шипящие сами по себе требуют выбора варианта *-айш-*, а, с другой — вариант *-айш-* сам по себе требует корня с исходом на шипящую.

¹⁴ Что касается положения о цикличности морфонологических правил, то характерно высказывание С. Андерсона в статье, посвященной эволюции генеративной фонологии: «...Представляется ... что принцип цикличности можно полностью оставить и поэтому мы не будем уделять ему внимания... в нашем обсуждении» [Anderson S. R. 1979: 15].

Сказанное можно схематически пояснить следующим образом. Если вариант *-айш-* употребим после корней с исходом на исконные шипящие, то порождение, например, словоформы *строжайший* можно представить двумя равноправными способами:

- 1) *строг-* + *-ейш-* + *-ий* → *строж-* + *-ейш-* + *-ий*
→ *строж-* + *-айш-* + *-ий* → *строжайший*;
- 2) *строг-* + *-ейш-* + *-ий* → *строг-* + *-айш-* + *-ий*
→ *строж-* + *-айш-* + *-ий* → *строжайший*.

В противном случае способ порождения этой словоформы только один — второй из указанных выше. Единственность данного способа следует из того, что если *-ейш-* возможно после шипящих, то, как сказано, шипящая в исходе корня не требует замены *-ейш-* на *-айш-*, и мы в результате получим неверный результат **строжейший*, если изменим порядок правил.

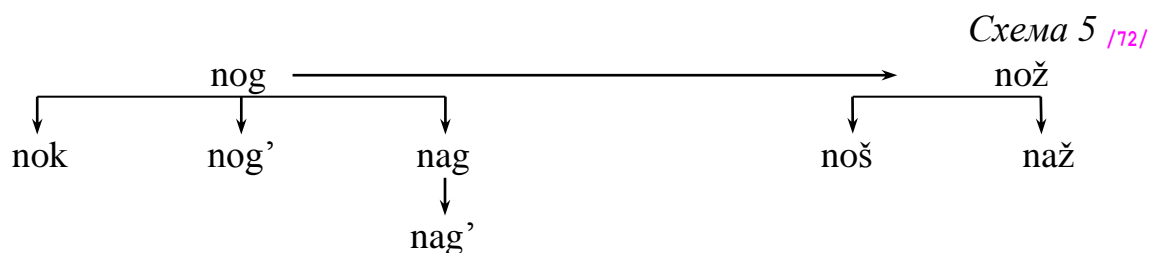
Найти нужные нам примеры не очень легко. Тем не менее существует один как будто бы несомненный случай образования превосходной степени прилагательного с корнем на шипящую, где используется вариант *-айш-*: *свежий* — *свежайший*. Это говорит об иррелевантности порядка правил в обсуждаемом случае. Иначе говоря, упорядоченность морфонологических правил по крайней мере не является универсальной.

Рассмотрим другие примеры. В английском языке множественное число существительных образуется, если отвлечься от /70//71/ всех нерегулярных форм, по общему правилу, которое определяет выбор между вариантами /s, z, iz/ в зависимости от фонологической характеристики корня: *cat* → *cats* /kæts/, *boy* → *boys* /bɔɪz/ *loss* → *losses* /lɒsɪz/. Последний вариант избирается при образовании множественного числа существительных с корнями на глухие щелевые и аффрикаты.

В существительных с корнями на /f/ при присоединении суффикса множественного числа происходит замена конечной согласной на /v/: *loaf* → *loaves*, *life* → *lives* и т. п. Вариант суффикса множественного числа здесь — /z/. Однако, если применять правило выбора варианта показателя множественности до правила замены /f/ на /v/, то в силу глухости и щелиности /f/ мы получим неверный результат, например, /laif/ → **laifɪz* по образцу /lɒs/ → /lɒsɪz/. Необходимо, следовательно, сначала заменить конечную /f/ на /v/, тогда к результату, полученному действием этого правила, будет применено другое, согласно которому к корню на звонкую согласную прибавляется вариант суффикса множественности /z/.

Иначе говоря, в этом случае факты не могут быть описаны адекватно без упорядочивания соответствующих правил. В рассматриваемом материале вопрос о порядке применения морфонологических правил возникает потому, что изменяются обе контактирующие морфемы, и нужно определить, одновременно или последовательно происходят эти изменения. Вопрос о необходимости упорядочивания правил возникает и

тогда, когда изменяется (приобретает другой вариант) только одна из морфем. Выше мы приводили правила, регулирующие вариативность морфемы русского языка *ног-*. Уже из того, какие варианты фигурируют в левой части правил, ясно, что одни правила применяются непосредственно к основному варианту, другие — к одному из неосновных. Но установление данного факта и есть признание упорядоченности правил. Правила, с этой точки зрения, разбиваются на две группы: для одних исходным является основной вариант, для других — производные. Если правил первого типа несколько, то порождаемые ими алломорфы как бы «радиально» соотносятся с основным вариантом, в то время как правила второго типа дают цепочки последовательно соотносящихся алломорфов; впрочем, каждый узел цепочки также может быть представлен веером вариантов, радиально соотносящихся с ближайшим по производности алломорфом. На примере морфемы *ног-* это может быть представлено посредством схемы 5.



Отметим, что порождение варианта /noš/ в более подробном описании будет иметь следующий вид: $nog + ek + a \rightarrow nož + ek + a \rightarrow nož + k + a \rightarrow noška$. Как можно видеть, появление варианта /nož/ вызвано контекстом «перед суффиксом *-ек*»: основным вариантом суффикса *-к* выступает *-ек*. Когда же /ek/ переходит /71//72/ в /k/, вступает в силу автоматическая замена /ž/ на /š/. Строго говоря, эта последняя альтернатива не требует специального упорядочения: автоматические чередования имеют место всякий раз, когда возникает соответствующий фонологический контекст. Вопрос о порядке применительно к правилам, отражающим автоматические чередования, возникает потому, что необходимый для их наступления контекст может создаваться, как в нашем примере, действием некоторых других правил.

8.2. Переводя проблему в психолингвистический план, мы сталкиваемся со сложными вопросами, на которые сейчас вряд ли можно ответить исчерпывающим образом. Прежде всего нужно со всей ясностью сказать, что понятие упорядоченности правил не означает, конечно, что они реально применяются одно за другим в процессе порождения речи. Возражение Дервинга, говорящее о невозможности последовательного применения правил в реальном масштабе времени, может относиться только к тем лингвистам (психолингвистам), которые склонны с определенной долей наивности усматривать возможность прямой

психолингвистической, интерпретации всех формальнолингвистических (прежде всего генеративистских квазипроцессуальных) построений.

Пожалуй, особенно наглядно неправомерность процессуально-временной интерпретации лингвистических правил видна в том случае, когда упорядоченность правил следует из применимости части из них к неосновному (производному) варианту. В русском примере, которым мы пользовались выше, вариант /noš/ выводится из производного /nož/, а не из основного /nog/. Но носитель языка безусловно владеет и тем и другим, поэтому нет смысла говорить, что в каждом конкретном речевом акте имеет место двухступенчатый процесс порождения /nog/ → /nož/ → /noš/, хотя такое представление достаточно естественно в полной собственно-лингвистической картине, отражающей соотношение всех существующих форм.

В том случае, когда необходимость упорядочения правил вытекает из последовательного (неодновременного) изменения двух контактирующих морфем, психолингвистическая интерпретация, думается, также должна исходить из существования во внутреннем словаре носителя языка всех вариантов морфем с «пометами» их взаимной сочетаемости. Иначе говоря, множественное число, например, от *life* в английском языке образу-^{/72/73/}ется не от основного варианта, а непосредственно от производного, сосуществующего в словаре с основным. Специфичность образования множественного числа для *life* по сравнению, скажем, с *cat* заключается в том, что корень первого в словаре представлен в двух вариантах: для единственного и множественного числа; суффикс множественного числа присоединяется непосредственно к «корню множественного числа». Разумеется, такое представление менее экономно, но никто еще не показал, что экономна упорядоченность правил, особенно если одни правила требуют соблюдения определенного порядка, а другие — нет (не говоря уже о методологической сомнительности самого принципа экономии как решающего).

Если изложенные выше соображения о психолингвистической интерпретации лингвистического понятия упорядоченности правил справедливы, то возникает вопрос, не является ли и в лингвистике использование порядка правил чисто внешним приемом. Не следует ли и при собственно-лингвистическом рассмотрении материала говорить, скорее, о некоторых гнездах алломорфов в словаре, которые специализированы для использования в тех или иных морфонологических процессах? Эта проблема несомненно требует дальнейшего исследования как в ее собственно-лингвистическом, так и в психологическом аспектах.

9. Кроме иерархичности морфонологических правил, использующихся для получения тех или иных дериватов и словоформ, существует и иерархия различных морфонологических средств в системе языка. Так, высказывались предположения, что применительно к

глагольным основам русского языка «иерархию морфонологических операций можно представить в следующем порядке:

1. Усечение.
2. Чередование конечного согласного.
3. Чередование корневого гласного.
4. Чередование начального согласного» [Смиренский 1975: 172].

Приведенная иерархическая последовательность морфонологических операций основана на представлении об абсолютном преобладании «самых длинных» основ в качестве исходных вариантов, поэтому операция усечения занимает в иерархии наивысший ранг. При ином подходе ее место в общей схеме, очевидно, изменится.

В целом иерархия должна зависеть, по-видимому, не столько от последовательности применения тех или иных морфонологических процедур при выводе словоформы или деривата, сколько от вероятностных соотношений операций наподобие следующего: «Если данный морфонологический процесс сопровождается морфонологическим изменением, то наиболее велика вероятность того, что им будет изменение типа А, менее вероятно изменение типа В, еще менее — типа С». Другое возможное соотношение морфонологических средств, отражающее их иерархию, это имплицативные зависимости между ними типа: «Если имеет место изменение А, то налицо изменение В, но не наоборот». Например, Э. Станкевич для славянских языков отмечает, что если в языке представлен перенос ударения с окончания на основу, то имеет место и перенос, обратный по направлению, хотя может существовать и сдвиг ударения только второго типа [Stankiewicz 1966: 515]. Данное соотношение говорит о том, что регрессивный перенос ударения, как можно назвать его сдвиг с окончания на основу, занимает более низкое положение в морфонологической иерархии славянских языков по сравнению с прогрессивным переносом — с основы на окончание.

В итоге можно заключить, что существуют по крайней мере три типа иерархических отношений в области морфонологических средств языка: иерархия членов альтернативных рядов; иерархия правил, используемых при выводе тех или иных словоформ или слов-дериватов; общая иерархия морфонологических средств данного языка по их «удельному весу» в системе.

Глава IV НАЛОЖЕНИЕ МОРФОВ

1. Настоящая глава посвящена специфическому морфонологическому явлению, известному как «наложение морфем»; как будет ясно из дальнейшего, более корректным обозначением данного явления было бы, с нашей точки зрения, «наложение морфов».

Представления о «наложении морфем» (иногда с использованием некоторых других терминов) появились в литературе относительно недавно [Шанский 1958; 1968; Янко-Триницкая 1964], но успели уже получить достаточно широкое распространение, преимущественно в работах по русскому и отчасти другим славянским языкам [ГСРЛЯ; РГ]. В последнее время это понятие применяется ко все новым и новым явлениям, но одновременно высказываются и сомнения в его корректности. Ситуация осложняется тем, что, обсуждая вопросы интерпретации материала, связанного с понятием наложения морфем, мы неизбежно сталкиваемся с целым рядом других трудных теоретических проблем: морфологической членимости, нулевых словообразовательных показателей, конверсии — вплоть до линейности языковых знаков. Все это показывает необходимость отдельного изучения вопроса о наложении морфем.

Начнем с типичных примеров, в качестве которых можно привести образование прилагательных *омский*, *минский* от имен *Омск*, *Минск*: считается, что сегмент *-ск-* в словах этого рода принадлежит одновременно и корню (*омск-*, *минск-*) и суффикс-*/74/75/*су *-ск* (ср., например, *киевский*), суффикс «налагается» на материально тождественный ему сегмент корня.

Вполне очевидно, что понятие наложения морфем никак не может считаться теоретически эксплицированным. По существу, это не более чем метафора, которая не заменяет достаточно строгого теоретического истолкования. Так, Р. Лясковский пишет: «В связи с требованием полной разложимости текста на морфы встает проблема суперпозиции (наложения) морфем, для которой нелегко найти решение, соответствующее языковой интуиции» [Лясковский 1981: 8]. Действительно, как уже говорилось в гл. I–III, признание морфемы единицей особого уровня предполагает, что любое слово, любой фрагмент текста мы можем расчленить на морфемы — одним-единственным способом и без остатка. Понятие наложения морфем в его традиционном виде явно противоречит этому условию, так как если, скажем, *-ск-* в *омский* принадлежит одновременно корню и суффиксу, то морфологическая (морфемная) граница между ними «исчезает».

Проблема адекватной трактовки такого материала объективно трудна, и далее мы рассмотрим возможные подходы, их достоинства и недостатки.

2. Вероятно, наиболее простой способ объяснения обсуждаемых здесь фактов (или их части) — использование понятия конверсии. Можно считать, что при образовании прилагательных типа *минский*, *омский* вообще не используется какого бы то ни было специального словообразовательного показателя — происходит переход слова из одного лексико-грамматического класса в другой, корень остается тем же, лексема меняется. При конверсионной деривации средством образования нового слова является смена парадигмы. В нашем случае субстантивная парадигма с ее набором категорий и манифестирующих их показателей сменяется адъективной со свойственным последней набором категорий и показателей¹. Из этого следует, что *-ск-* в *омский*, *минский* — при выборе данной трактовки — вообще не является суффиксом, а принадлежит исключительно корню, суффикс же просто отсутствует. Вопрос о морфемных границах в таком случае решается тривиально, необходимость в понятии наложения морфем полностью отпадает.

Хотелось бы подчеркнуть (хотя этот аспект и не относится непосредственно к морфонологии)², что отсутствие суффикса при конверсионной трактовке словообразования отнюдь не эквивалентно употреблению нулевого суффикса. Понятие нулево-*/75//76/*го словообразовательного суффикса скорее всего вообще некорректно. Как нам не раз уже приходилось писать [Касевич 1983а; 1977; Кубрякова 1970], нулевой показатель присутствует только там, где наличие обязательности состава языковой единицы, здесь словоформы. В позиции, где обязательно должен присутствовать некоторый элемент, где он «ожидается», неупотребление элемента, оставление позиции материально незаполненной служат таким же сигналом вполне определенного значения, как и присутствие «положительного» показателя. В русских словоформах, принадлежащих к изменяемым частям речи, обязательно наличие основы и флексии, но никак не словообразующего аффикса — по той простой причине, что непроеизводные слова, т. е. слова без словообразующих аффиксов — это, так сказать, «нормальные» слова; невозможно утверждать, что в непроеизводных словах отсутствие аффикса как-то значимо. Следовательно, не существует необходимых условий для

¹ Здесь дается толкование конверсии, рассчитанное на материал флективного (или агглютинативного) языка. В изолирующих языках, где нет парадигм, составленных синтетическими словоформами, при конверсионном словообразовании изменяется не парадигма, а синтактика (комбинаторика) слова.

² Ясно, что при принятии конверсионной трактовки материал типа обсуждаемого уже не подлежит освещению в рамках морфонологии, он должен быть отнесен к морфологии (точнее, к словообразованию).

того, чтобы отсутствие словообразующего аффикса можно было трактовать как особый аффикс — нулевой.

К тому же материалу можно подойти и с несколько иной точки зрения. Например, нередко утверждают, что, скажем, существительное *синь* образовано от прилагательного *синий* посредством нуль-суффиксации [Лопатин 1966; РГ; Уорт 1972]. Существительное *синь* действительно содержит нулевой показатель. Но можем ли мы считать, что семантические характеристики этого нулевого показателя содержат что-либо «сверх» того, что присуще нулевому показателю, например, слова *лань*? И в том и в другом случае нуль указывает на единственное число и именительный падеж — и ничего сверх того. Но, может быть, здесь два нулевых аффикса: формообразующий, указывающий на число и падеж, и словообразующий, указывающий на производность существительного от прилагательного? Дело, однако, в том, что словообразующий нуль никак «не обнаруживает себя». Имея существительное с основой на мягкую (или шипящую) согласную, мы знаем только то, что перед нами словоформа ед. ч. им. п. Мы не можем определить даже, с существительным какого грамматического рода имеем дело (отсюда нередкие ошибки при склонении слов *шампунь*, *псалтырь* и т. п. в малограмотной речи). Тем более по внешнему облику слова мы не можем определить его производность/непроизводность и деривационную историю в случае первого из этих вариантов — хотя нулевое окончание определяется безошибочно. Это опять-таки говорит о фиктивности понятия словообразовательного нуля.

Не следует также думать, что опущение определенных грамматических элементов есть эквивалент употребления нулевого (словообразующего) показателя. Действительно, при образовании *синь* от *синий*, *бег* от *бегать* внешне картина выглядит так, как будто бы опущение *-ий*, *-ать* и составляет существо словообразовательного процесса, и нуль — просто удобное на-/76/77/звание для такой «отрицательной» операции, как опущение. Однако опущение служит лишь вспомогательной операцией: вспомним, что и при образовании, например, существительного *читатель* от глагола *читать* сначала нужно отбросить формообразующий показатель, флексию в качестве необходимого предварительного условия для осуществления словообразовательного процесса. В случае же конверсного словообразования, вероятно, вообще нет смысла говорить об опущении чего бы то ни было, ибо словообразующим средством выступает смена парадигмы, а не прибавление определенного словообразовательного аффикса³.

³ Собственно говоря, даже и эти представления об опущении флексии и затем прибавлении словообразующего суффикса, скорее всего, вносят в описание реальных языковых процессов известный механицизм. Разумнее предположить, что в обоих случаях — при деривации посредством специального показателя-аффикса и с

3. Другой возможный способ трактовки интересующих нас случаев состоит в использовании понятия усечения основы. Согласно такой трактовке в контексте суффикса, содержащего сегмент, материально тождественный финальному сегменту корня, или же целиком совпадающего с таким сегментом, соответствующая часть корня (основы) опускается⁴. Формально, на примере образования прилагательного *омский*, процесс можно представить посредством следующего правила: *омск* → *ом-* / — *-ск*. Иначе говоря, перед суффиксом: *-ск* корень *омск-* выступает в варианте *ом-*. Для примеров с прилагательными *омский*, *минский* дополнительным основанием в пользу указанного решения выступает тот факт, что варианты *ом-* корня *омск-*, *мин-* корня *минск-* так или иначе существуют: ср. *омич*, *минчанин*, где наличие корней *ом-*, *мин-* бесспорно. В пользу принятия трактовки, оперирующей понятием усечения основы, говорит достаточно широкое использование процедуры усечения в русской морфонологии (см. об этом в гл. III), таким образом, подведение фактов «наложения морфем» под эту категорию — усечения основы — способствует большей общности описания.

Подробно анализирует польский материал, аналогичный обсуждаемому здесь русскому, Р. Лясковский [Лясковский 1981]. В польском языке при образовании существительных на *-stwo/-ctwo* и прилагательных на *-ski/-cki* также возникает ситуация потенциальной неоднозначности морфемного членения, ср. *starosta* — *starostwo*, *Gdańsk* — *gdański* и т. п. Р. Лясковский выясняет следствия, к которым ведут разные варианты решения проблемы. В частности, он рассматривает и вариант усечения не основы, а /77/78/ суффикса, т. е. в *starostwo*, согласно этому варианту, присутствует суффикс *-wo*, а не *-stwo*. Относительно этого способа решения автор замечает, однако, что алломорфы *-two/-wo*, *-ki/-i* выглядят искусственно и вызывают необходимость во введении в польскую морфонологию чередований, более ни в каком ее фрагменте не засвидетельствованных⁵.

Наилучший выход из положения Р. Лясковский видит в оперировании «абстрактными фонемами», в частности, долгими гласными /ī/, /ē/, /ā/, которые, как известно, не представлены в традиционной фонологической системе польского языка, поскольку никогда не

помощью конверсии — происходит смена парадигмы как таковая, но только в первом случае употребляется специальный знак (аффикс), указывающий на смену парадигмы (и класса), а во втором — нет.

⁴ Из приведенной формулировки не следует, что усечение происходит только в данных условиях: имеется в виду, что эти условия как правило влекут за собой усечение основы.

⁵ Лясковский говорит о чередованиях, так как для него указанный вариант описания связан, собственно, не с идеей усечения аффикса, как в нашей редакции, а с более традиционными представлениями о чередовании с нулем (см. об этом с. 55).

фигурируют «на поверхности», в тексте. Мы не будем разбирать морфонологические правила, предлагаемые Р. Лясковским, которые, по мысли этого автора, позволяют наиболее общим и непротиворечивым образом описать порождение соответствующих дериватов. Как мы уже писали [Касевич 1983b], никакие «выгоды», проистекающие из оперирования «абстрактными», или, по удачному выражению Дж. Крозера, «мнимыми» фонемами [Crothers 1971], не могут служить оправданием их введения уже потому, что это вносит в систему фонем языка недопустимую гетерогенность: «абстрактные» и «неабстрактные» фонемы в пределах одной системы⁶.

4. Как можно видеть, все варианты решения проблемы наложения морфем оказываются не вполне удовлетворительными. Их неудовлетворительность станет еще более явной, если выйти за пределы традиционного материала, фигурирующего в работах по русистике.

Уже в русском языке при неполном стиле произношения [Бондарко и др. 1974] взамен форм /kuracca/, /dracca/ находим в известном смысле редуцированные варианты — /kuraca/, /draca/. Если для полных вариантов удовлетворительное решение достигается, как излагалось выше, признанием существования алломорфа /ca/ морфемы /s'a/, то для редуцированных возникает проблема прохождения морфемной границы. Конверсионная трактовка здесь явно неприменима. Что же касается трактовки, оперирующей понятием усечения основы, то ее пригодность также весьма сомнительна: ведь окажется, что усечению подвергается не /78/79/ основа, а показатель инфинитива (особый вопрос — чем в таком случае выражается инфинитивность).

В американском английском также известны близкие по типу «казусы». В аллеговой непринужденной речи встречаются высказывания наподобие /didžə/ из *did you* или /mišə/ из *(I) miss you*, /blešə/ из *bless you*. Если считать, что здесь морфемы *did*, *miss* выступают как результат усечения в вариантах /di/, /mi/ соответственно, а *you* — в вариантах /džə/ и /šə/, то, во-первых, будут нарушены законы английской фонотактики, согласно которым в открытом слоге не может быть /i/, во-вторых, в систему будут введены уникальные чередования /j/ ~ /dž/ и /j/ ~ /š/. Если исходить из того, что усечению подвергается вторая из контактирующих морфем, то возникает опять-таки уникальный вариант /ə/ морфемы /jū/, да

⁶ Безусловно существенна также почти очевидная психолингвистическая неадекватность «абстрактных» фонем. Не случайно Р. Лясковский пишет в заключении к своей статье: «...Я сознательно абстрагировался от проблемы приемлемости модели с точки зрения носителя языка, так же как и от проблемы ее согласованности с ментальными механизмами владения языком» [Лясковский 1981: 35]. Абстрагироваться от указанных проблем «чистый» лингвист имеет право, но нельзя возводить это в принцип — скорее, такую «абстрагированность» следует понимать как сознательное (или вынужденное) ограничение задачи исследования.

и чередования /d/ ~ /dž/, /s/ ~ /š/ вряд ли естественно впишутся в систему английской морфонологии. Наконец, мы не имеем права считать /dž/, /š/ чисто фонетической реализацией фонемосочетаний /d + j/, /s + j/ соответственно (решение генеративистского типа), поскольку в фонологической системе английского языка существуют самостоятельные фонемы /dž/, /š/.

Здесь также появляется соблазн думать, что /dž/, /š/ принадлежат одновременно обоим контактирующим морфемам (см. [Лясковский 1981: 10]). Но в обсуждаемой ситуации это решение выглядит еще более парадоксальным и менее приемлемым, чем в случае *омский*, *минский*, который обсуждался выше: поскольку соответствующие согласные явно не геминированы, придется считать, что морфемная граница рассекает фонему — и мы придем к абсурдному результату⁷.

Если случаи наподобие /кираса/ в русском языке, /mišə/ в английском принадлежат, скорее, к периферии, будучи ассоциированы с аллегорической речью, то в индонезийских языках аналогичные морфонологические процессы относятся к норме [Алиева 1972; Оглоблин 1986]. Приведем пример из мадурского языка. В мадурском языке существует неслоговой одногласный префикс, основной вариант которого представлен заднеязычным носовым согласным. Когда этот префикс присоединяется к корням с анлаутом, представленным шумными согласными, то происходит «слияние» префикса и анлаута корня, результатом которого выступает носовой, гоморганный исходному шумному согласному. Например: /ŋ/ + dhuddhu' → /nodduh' 'указывать', /ŋ/ + /bhəddhil/ → /məddhil/ 'стрелять' [Оглоблин 1986]. Здесь, как мы видим, префикс вообще «исчезает», лишь его рефлекс проявляется в назальности, приобретённой анлаутом корня⁸. По-видимому, ясно, что ни одна из анализируемых выше трактовок не даёт удовлетворительного описания индонезийского, в частности мадурского, материала.

Упомянем, наконец, материал так называемого телескопического словообразования. Если для русского языка этот тип не слишком

⁷ Неприемлемость таких выводов следует не только из того, что фонема — минимальная, т. е. далее неделимая линейная единица плана выражения. Важен и процедурный, исследовательский аспект: если мы допустим, что фонема может рассекается морфологической границей, то тем самым процедура определения бифонематичности, которая опирается, как известно, именно на возможность разделения некоторых сегментов морфемной границей, лишится единственного надежного критерия.

⁸ Можно было бы считать, что глаголы данного типа образуются не при участии префикса /ŋ/, а просто в силу чередования начальных согласных — словообразовательного аналога внутренней флексии, т. е. /məddhil/ есть результат мены /bh/ → /m/. Но тогда оказалось бы, что в абсолютно аналогичных условиях одни глаголы — с гласным анлаутом — образуются путем префиксации, ср. /ŋ/ + /əṣṣar/ → /ŋəṣṣar/ 'печатать', а другие — путем «внутренней флексии».

характерен (ср., например, *moped* (< *мотоцикл* + *велосипед*)), то, скажем, в американском варианте английского языка на его долю приходится примерно 16 % всех новообразований [Омельченко 1980], некоторые из них проникли и в русский язык (*стагфляция*, *рейганомика* и др.). В русском языке, отчасти и в английском, эти, как их еще называют, «слова-слитки» служат для повышения экспрессивности речи, нередко для создания комического, каламбурного эффекта (ср. *петухиппи* (< *петухи* + *хиппи*) [Омельченко 1980], *професарайчики* (< *профессора* + *сарайчики*, т. е. ‘непрезентабельные дачные домики, в которых живут профессора’) [Русская разговорная речь 1983]). Если считать, что здесь имеет место (окказиональное) усечение морфем петух, профессор, когда они выступают в вариантах *пету*, *профе* соответственно, то, пожалуй, каламбурный характер образования объяснить будет трудно, хотя ощущается он совершенно явственно. По-видимому, больше здесь подходит объяснение с использованием понятия наложения морфем, при котором *-хи-* в *петухиппи*, *-сар-* в *професарайчики* принадлежат одновременно обеим контактирующим морфемам и неожиданно для слушающего используются «вторично». Но мы уже видели недостатки идеи наложения морфем.

5. Попробуем в поисках ответа обратиться к одной возможной параллели из области фонологии. В шведском языке существуют какуминальные согласные [t̪, d̪]. Л. Р. Зиндер показал, что с фонологической точки зрения эти согласные следует рассматривать как консонантные сочетания /rt, rd/ [Зиндер 1949]. Иначе говоря, (алло)фоны [t̪, d̪] являются вариантами не отдельных фонем, а фонемосочетаний. Точно так же в таджикском языке при редукации до нуля так называемых неустойчивых гласных они фонологически присутствуют тем не менее в виде слоговости и смягченности соседних согласных [Соколова 1951], ср. например, [k̪'tob] = /kitob/, т. е. слоговой [k̪'] фонологически представляет собой /ki/, или, иначе, является аллофоном фонемосочетания /ki/. О том, что могут существовать варианты фонемосочетаний, /80//81/ говорит и Н. С. Трубецкой [Трубецкой 1960] (хотя приводимые им иллюстрации вызывают возражения).

Возможно, в морфологии и морфонологии также следует говорить о таких морфах, которые являются вариантами не индивидуальных морфем, а морфемосочетаний. Тогда *розоват-* — это алломорф морфемосочетания *розов-* + *-оват*, англ. /didʒə/, /bleʃə/ — алломорфы сочетаний *did* + *you*, *bless* + *you* соответственно, мадурск. /məɖɖhil/ — вариант сочетания /ŋ/ + /bhəɖɖhil/, польск. *starostw-* — сочетания *starost-* + *-stw(o)* и т. п. При такой трактовке, приложимой, по-видимому, ко всему обсуждавшемуся выше материалу, вопрос о морфемных границах — едва ли не наиболее

«больной» для нашей проблемы — в сущности, снимается. Здесь можно продолжить аналогию с фонологической интерпретацией фонов типа шведских какуминальных или таджикских слоговых смягченных согласных. Поскольку такие согласные фонологически представляют собой сочетания (*rt*, *rd* для шведского, *ki* для таджикского), то единственные функционально релевантные границы — это границы между *r* и *t*, *r* и *d*, *k* и *i*, вопрос о границах внутри *t*, *d*, *k* не имеет смысла. Точно так же теряет смысл вопрос о границах внутри образований типа *розоват-*, *starostw-*, если мы рассматриваем их как варианты морфемосочетаний.

Как же в таком случае следует описывать неосновные варианты? Если нет границ между ними, то они невыделимы и, стало быть, не могут быть представлены как линейные сегменты. Морфема, как известно, линейна. Не распространяется ли это положение на любой из ее вариантов?

Фонема столь же линейна, сколь и морфема. Но в определенных контекстах, как мы видели, ее варианты оказываются лишенными линейности. Линейность, а с ней и границы, «восстанавливаются» тогда, когда «восстанавливаются» фонемы — естественно, в своих основных вариантах. По-видимому, аналогична и ситуация на уровне морфем. Единицы типа *розоват-*, *starostw-* — это «амальгамированные» варианты морфемосочетаний, лишенные в силу этого внутренних границ. Реальны лишь границы между основными вариантами соответствующих морфем (и, конечно, теми из неосновных, которые сохраняют линейность, что относится к большинству случаев). Если наша трактовка верна, то именно в этом смысле и следует понимать наложение: как реализацию двух морфем в одном амальгамированном морфе.

При амальгамировании морфов границы между морфемами сохраняются, поэтому и говорить о наложении можно лишь применительно к морфам, но никак не к морфемам; как всякое морфонологическое явление, наложение (наложение морфов) сохраняет идентичность морфем, модифицируя морфы. /81//82/

Подлинное наложение морфов имеет место тогда, когда нет обязательного усечения; если по правилам данного языка присоединение некоторой морфемы требует усечения другой (или основы), как в русском языке при сочетании открытой основы с неприкрытым окончанием, то нет оснований привлекать для описания такой ситуации дополнительное понятие наложения морфов [Янко-Триницкая 1970]. Поэтому в *омский*, *минский*, *сочинский* наложения морфов нет. Вместе с тем, хотя усечение не предполагает наложения, последнее безусловно с ним связано: ведь материальное опущение сегмента в составе контактирующих морфем при наложении морфов так или иначе происходит, но усекаемый сегмент при этом как бы имплицитно присутствует.

По-видимому, амальгамированные варианты морфемосочетаний могут возникать в трех случаях. Один — это материальное совпадение финали одной морфемы с инициалью другой или же со всей другой морфемой. В этой ситуации обычна гаплогогия которая и приводит к появлению амальгамированного варианта двух морфем. Ясно, что для адекватной трактовки, адекватного восприятия амальгамированного варианта слушающий (читающий) должен восстановить исходные основные варианты. Так, в слове *морфонология* сегмент *мор-* получит адекватную трактовку, если будет восстановлена исходная форма *морф-* (*морфо-*)⁹.

Другой случай представлен тогда, когда происходит чередование «фонемосочетание ~ фонема» на морфемном шве и в результате «упраздняется» сам этот шов, возникает амальгамированный алломорф, или вариант морфемосочетания. Кроме приводившихся выше русских, английских, индонезийских примеров к этому типу относятся также такие разновидности правил сандхи в санскрите, согласно которым, например, на морфемном шве сочетания «краткая + краткая гласная», «краткая + долгая», «долгая + долгая» переходят в одну долгую гласную, ср. $a + ad + am \rightarrow \bar{a}dam$ '(я) ел'.

Третий случай — это так называемые *portemanteau*-морфемы наподобие франц. *au*, возводящегося к $\dot{a} + le$. Отличие от первых двух состоит в том, что здесь нет фонологических условий, вызывающих появление амальгамированного варианта, который образуется супплетивно. Соответственно два первых слу-/82//83/чая относятся к морфонологии, третий же — нет; в *portemanteau*-морфемах есть амальгамирование, но отсутствует наложение морфов.

Нет амальгамирования при «телескопическом» словообразовании типа рус. *монед* или англ. *brunch* (< *breakfast + lunch*). Здесь имеет место взаимное усечение корней при корнесложении, и особый морф — вариант морфемосочетания не создается, сохраняются границы не только между морфемами, но и между морфами в их усеченных вариантах (*мо-нед*, *br-unch*). В силу значительного фонетического расхождения между основным и усеченным вариантом синтагматическая граница между

⁹ Между прочим, здесь находит свое косвенное подтверждение трактовка, согласно которой *-o* принадлежит корню, а не составляет особую морфему (интерфикс, см. гл. V): если бы *-o* было интерфиксом, то описание процесса, где материально совпадали бы не финаль первой морфемы с инициалью второй, а финаль плюс интерфикс с инициалью «правой» морфемы, оказалось бы неоправданно сложным. Заметим кроме того: на примере слова *морфонология* видно также, что не всегда для установления межморфемных границ требуется возведение амальгамированного алломорфа к сочетанию основных, исходных вариантов, иногда для этого необходимы ближайшие (в процессе порождения) неосновные, но линейные алломорфы, как *морфо-* в *морфонология*.

морфами может со временем стираться, тогда в процессе опрощения появляется новая морфема, новый корень, с синхронической точки зрения, как и «полагается» морфеме, корню, уже полностью лишенный внутренней структуры. Возможно, это и происходит со словом *moped* в русском языке. В отличие от этого, в случаях наподобие рус. *пелухинни* или англ. *alcoholiday* (*alcoholic* + *holiday*) вполне можно говорить о наложении морфов, хотя обычно их рассматривают как примеры «телескопического» словообразования наряду с *moped* и *brunch*.

Глава V

ПОНЯТИЯ СУБМОРФА И МОРФОНЕМЫ

СУБМОРФ

1. Понятие субморфа, впервые, кажется, введенное В. Г. Чургановой [Чурганова 1967], не принадлежит к числу интенсивно используемых в морфонологии, однако оно заслуживает внимательного рассмотрения. Обращаясь к этому понятию, мы начинаем исследование вопроса о том, существуют ли специфические единицы морфонологии.

Морфонология, как не раз отмечалось выше, — это фонологические явления и процессы, которые сопровождают морфологические. Поэтому в морфонологических правилах фигурируют указания, с одной стороны, на фонологические единицы, их типы, например, «корень с исходом на щелевую согласную», а с другой — на морфологические единицы, например, «суффикс множественного числа». Если оставаться в пределах указанных единиц и признаков, то окажется, что никакими собственными единицами морфонология не располагает.

Однако существуют как будто бы ситуации, когда сферой проявления морфонологических явлений оказывается не морфема, а ее часть. Например, в словах *конец*, *голец*, *отец* корень может принимать варианты *конц-*, *гольц-*, *отц-* соответственно, и в целом достаточно естественно считать, что эти из-/83//84/менения затрагивают не корень в целом, а его конечный сегмент — *-ец*. Этот сегмент не имеет какой бы то ни было морфологической интерпретации, но проявляет, как видим, определенную самостоятельность с морфонологической точки зрения.

Можно сказать, далее, что коль скоро морфонология вообще имеет дело с фонологическим варьированием морфем, то, следовательно, в сферу действия морфонологических правил вовлечены экспоненты морфем, а не сами морфемы. Иначе говоря, в морфонологических процессах принимают участие односторонние единицы (хотя тип изменения мотивирован соотношением двусторонних единиц, морфем). Если это так, то, возможно, экспонент морфемы и его сегмент, проявляющий морфонологическую самостоятельность, — это просто частные случаи, подтипы одной и той же единицы, которая и является ареной морфонологических процессов, — субморфа.

В. Г. Чурганова описывает субморф как «единицу, выражающую морфонологическое единство регулярно организованных элементов звуковой оболочки слова, не вычленимых на морфологическом уровне, с элементами вычленимыми» [Чурганова 1973: 38], а в другой работе дает определение: «...субморф — это внутренне организованный блок

морфофоном, который может быть соотнесен с морфом или самостоятельно, или вместе с другим субморфом» [Чурганова 1967: 366]. Но и описанием, и определением трудно пользоваться реально: неизвестно, что такое «морфонологическое единство», чем отличается «внутренне организованный блок» морфофоном¹ от блока, лишённого такой организованности. Например, в составе морфемы (морфа) *берег* вполне можно выделить «внутренне организованный блок» *-ере-*, однако вряд ли есть смысл придавать ему статус особой единицы. Если к тому же требовать членения на субморфы без остатка, то сегмент *-ере-* тем более нельзя выделить в качестве субморфа.

Неясно, как следует вычленять субморфы: либо в составе морфемного экспонента выделяется субморф и «остаток» никак не квалифицируется, либо после выделения одного субморфа второму сегменту также автоматически приписывается статус субморфа на основании принципа остаточной выделяемости. Например, в экспоненте корня *огурец* вычленяется субморф *-ец* на основании вхождения беглой гласной, но «остаток» *огур'* сам по себе не обладает какой-либо морфонологической спецификой². Статус субморфа ему может быть приписан только при условии соглашения о том, что план выражения должен быть представлен без остатка в терминах субморфов. /84//85/

Выделение субморфов, практикуемое в работах по русской морфонологии, временами выглядит не вполне убедительным. Так, Чурганова в суффиксе *-няк* (*березняк*) усматривает два субморфа, *-Он + ак*, в суффиксе *-чик* — субморфы *-Ос + ik*, в суффиксе *-овщин-* — субморфы *ov + Оsk + in* и т. п. [Чурганова 1973: 111–113]. Неясно, какая морфонологическая самостоятельность имеется у начального сегмента суффикса *-няк*, если не считать того, что существует самостоятельный суффикс *-н-*, как и самостоятельный суффикс *-ак*. Тем более непонятно, что является основанием для представления первого из выделенных субморфов в виде *-Он-*. Когда аналогичным образом *-ушк-* записывается как *ищ* (или *их*) + *Ок*, это объясняется наличием беглого гласного, но в суффиксе *-няк-* беглого гласного нет.

Точно так же морфонологическая запись суффикса *-чик* (*мальчик*) в виде двух субморфов оправдана только в том случае, если *мальчик* возводится к *малец*, тогда понятно и фиксирование беглого гласного и употребление /с/ вместо /щ/. Но в современном русском языке слова

¹ Анализ понятия морфонемы см. с. 95 сл.

² *Огур'* совпадает по фонологической структуре с простой корневой морфемой (ср. *овощ-*, *онуч-* и т. п.), однако на этом основании можно выделить в качестве субморфа практически любой однослог; например, в корне *солов-* конечный сегмент *-лов-* по своему фонологическому облику совпадает с корнем, а начальный *со-* — с префиксом, однако Чурганова считает корень *солов-* морфонологически простым, неразложимым на субморфы [Чурганова 1973: 47].

мальчик и *малец* уже не связаны отношением производности. Если же они были бы связаны, то членение *-чик* осуществлялось бы на морфемы, а не субморфы, т. е. было бы морфологическим, а не морфонологическим.

Именно этот случай, думается, представлен в последнем из приведенных примеров — *-овщин-* (*петлюровщина*, *махновщина* и т. п.). Здесь целесообразнее видеть морфологическое сочетание суффиксов *-ск-* + *-ин-*. Действительно, суффиксы *-ск-* и *-ин-* вычленяются по пропорции *петлюровский* : *петлюровщина* = *столыпинский* : *столыпинщина* и др.; о статусе *-ов-* см. с. 95.

Таким образом, при разбиении элементов плана выражения на субморфы в одних случаях наблюдается «гиперсегментация»: членятся те экспоненты морфем, компоненты которых не проявляют какой бы то ни было морфонологической самостоятельности; в других же случаях — «гипосегментация»: разбиение описывается как морфонологическое, в то время как в действительности оно является собственно-морфологическим.

2. Следует ли, учитывая описанные неясности и затруднения, вводить в морфонологию понятие субморфа? Если нет, то как нужно описывать те несомненные, в общем, случаи, когда сегменты, более мелкие, чем экспонент морфемы, но более крупные, чем фонема, обнаруживают определенную самостоятельность в морфонологических процессах?

Вероятно, понятие субморфа должно найти свое место в общей теории морфонологии (во всяком случае, для описания языков типа русского): трактовка изменений наподобие *конец* ~ *конца* или *осел* ~ *осла* в качестве варьирования целостных нерасчлененных морфем кажется искусственной, настолько явно здесь вычленяются изменяемая и неизменяемая части. Соответственно субморф в первом приближении можно определить /85//86/ как морфонологически изменяемую часть экспонента морфемы. При таком подходе отнюдь не любой экспонент морфемы является субморфом или состоит из субморфов. Экспонент морфемы, если в его составе вычленяется субморф, вовсе не обязательно сводим к цепочке субморфов, как, скажем, слово — к цепочке морфем. «Остаток» после выделения субморфа сам субморфом не является.

Субморф, таким образом, — это, скорее, вспомогательная единица, она вычленяется только тогда, когда экспонент морфемы обнаруживает определенную внутреннюю сложность, неоднородность с морфонологической точки зрения. Кроме того, субморфы выделяемы далеко не во всех языках. Субморф, следовательно, не может считаться единицей, универсально обслуживающей морфонологию.

Общие положения, сформулированные выше, еще не позволяют, однако, выделять субморфы и их разновидности в каждом конкретном случае. Для этого нужны более точные критерии, которые будут предложены в связи с проблемой соотношения субморфов и интерфиксов.

СУБМОРФЫ И ИНТЕРФИКСЫ

3. Необходимо отдельно рассмотреть вопрос о соотношении понятия субморфа и одной специфической категории сегментов, которые, как считают, наделены лишь чисто структурными функциями, хотя и причисляются к морфемам. Таковыми, как известно, выступают интерфиксы. Именно интерфиксы фигурируют в грамматических описаниях как «асемантические» морфемы, выполняющие чисто техническую, структурную роль, и проблема адекватной трактовки такого рода единиц приобретает особую важность для морфологии языков типа русского, а также с общетеоретической точки зрения. Очевидны и точки соприкосновения с вопросом о субморфах в морфонологии: субморфы асемантически, тем не менее выделяются как особые единицы, и необходимы критерии, позволяющие различать интерфиксы и субморфы.

Существует несколько точек зрения на указанную проблему. Наиболее традиционная считает интерфиксами лишь «соединительные гласные (согласные)» типа тех, что используются для образования сложных слов наподобие рус. *пароход* или нем. *Staatsoper*. Интерфикс в этом случае выступает как морфема в числе других морфем, классифицируемых по позиционному отношению к корню: инфикс вставляется в корень, префикс предшествует корню, интерфикс соединяет корни³. Значение интерфикса как морфемы сводится к его функции, которая состоит /86//87/ в соединении, связывании корней (основ) при образовании сложного слова.

Нельзя не признать, что сведение значения к функции делает интерфикс обсуждаемого типа по крайней мере необычной морфемой. Ведь определенные функции существуют и у других морфем наряду со значением. Например, падежные флексии безусловно обладают особыми грамматическими функциями — они указывают на синтаксическое отношение слов в рамках словосочетаний и предложений⁴, но наряду с этим падежные флексии обладают определенными значениями. Как значения, так и функции падежных флексий весьма широки⁵, но

³ В. В. Лопатин справедливо замечает, впрочем, что такого рода интерфиксы соединяют не корни, а основы, ср. *землепроходец* [Лопатин 1977: 54].

⁴ Это верно по крайней мере относительно «синтаксических» падежей (в отличие от «адвербиальных», если следовать делению Е. Куриловича [Курилович 1962]).

⁵ Что касается значения падежных окончаний, то, скорее, всего, ситуацию упрощает известная схема Р. Якобсона, ставящая в соответствие каждому падежу (русского существительного) набор семантических дифференциальных признаков [Jacobson 1936] (см. об этом, например, [Касевич 1977]). Разумнее считать, что с каждым падежом ассоциируется некоторый набор возможных значений, обслуживаемых данной формой, этот набор образует определенную семантическую структуру, но вовсе не обязательно сводим к какому-либо семантическому инварианту. Набор (структура) значений есть семантическая характеристика конкретной падежной

последним присущи одновременно оба свойства: семантизованность и функциональность.

Недавно В. В. Лопатин предпринял попытку доказать наличие особого значения у интерфиксов рассматриваемого типа. Согласно Лопатину, таким значением выступает значение «синтагматическое»: интерфиксы обладают абстрактной словообразовательной семантикой — связывая в единое целое основы, они выполняют роль специального грамматического средства для соединения основ в пределах синтагмы, каковую представляет собой, в известном смысле, сложное слово. «...Если мы усматриваем значение, например, у союзов, — пишет Лопатин, — считая их словами, то на аналогичных основаниях следует считать интерфиксы сложных слов морфемами, а не асемантическими отрезками» [Лопатин 1977: 55].

Однако «словесный» статус союзов формально независим от их семантичности (наличия значения). Чтобы некоторый элемент был признан («для начала») морфемой, он должен удовлетворять определенным условиям, включая наделенность значением (подробнее см. с. 89). Для присвоения же статуса слова необходимы совершенно другие, независимые признаки, а вопрос о семантичности не возникает просто потому, что слово сформировано «на базе» морфем — заведомо зна-^{/87//88/}чащих единиц. Так что, если приведенное высказывание Лопатина имплицитно содержит предположение «союзы асемантчны, тем не менее они являются словами — давайте, по аналогии, признаем морфемами интерфиксы, выполняющие сходные с союзами функции», то с его посылкой нельзя согласиться: будь союзы асемантными, они не могли бы быть морфемами, а отсюда и словами.

Что же касается «синтагматического словообразовательного значения», то, как представляется, это просто переформулирование старого утверждения, согласно которому соединительная функция интерфиксов и есть их значение, о чем уже говорилось выше. Если считать, что семантика и функция относительно самостоятельны, «рядоположены», но не идентичны, не взаимозаменяемы, то остается признать, что интерфиксы все же асемантчны.

Могут ли они при этом условии квалифицироваться в качестве морфем? Ответ кажется очевидным: нет, не могут; Понимание и определение морфемы как минимального значащего элемента языка слишком существенно, чтобы мы могли им жертвовать ради признания

формы в ее парадигме. В контекстах, где при сильном управлении употребление данной падежной формы полностью предсказуемо, она в известном смысле теряет значение, сохраняя лишь функцию — но значение как системная характеристика этой формы и соответственно образующего форму показателя (флексии) и в этом случае не сводится к функции.

морфемами некоторых повторяющихся в структуре слов сегментов, которые как будто бы наделены определенными функциями.

4. Возникает, естественно, следующий вопрос: если «интерфиксы» не являются морфемами, то как их следует трактовать? Могут ли выделяться в составе слова линейные элементы, которые не принадлежат к числу морфем?

Положительный ответ на последний вопрос означал бы разрыв с традицией, согласно которой членение любой языковой единицы, любого фрагмента текста на сегменты, соответствующие единицам некоторого уровня, должно быть безостаточным: традиционно считается, что все в языке можно представить как цепочку фонем, цепочку морфем, цепочку слов. Невозможна ситуация, когда после расчленения на слова «остаются» морфемы, не являющиеся словами и не входящие ни в одно из выделенных слов. Точно так же невозможна ситуация, когда при сегментации на морфемы остаются фонемные последовательности, не служащие экспонентам морфем и не принадлежащие ни к одной из морфем.

Что лежит в основе этих представлений, которые обычно никак не обосновываются, а выдвигаются в качестве аксиоматических? Почему, собственно, нельзя признать, что морфемный уровень языка располагает морфемами и, кроме того, особыми, единицами чисто служебной природы, которые морфемами не являются, но служат для соединения последних?

Ответ связан с пониманием природы таких единиц, как морфема. Морфема в качестве объекта теории принадлежит к числу операционных единиц — в частности, и в том смысле, что статус морфемы как особой единицы неотделим от про-/88//89/цедур, операций, посредством которых она выделяется. В общем виде эти операции носят следующий вид [Квантитативная типология... 1982]: (1) если сегмент способен употребляться в качестве самостоятельного высказывания, то он является морфемой (содержит по крайней мере одну морфему), ср. *рук-* из *рукомойник* (*рук* — род. п. мн. ч.); (2) если сегмент входит в квадрат Гринберга, то он является морфемой или содержит морфему, например, *школ-а* : *школь-ник* = *трав-а* : *трав-ник*; важным условием здесь служит требование, согласно которому все вхождения рассматриваемого сегмента сохраняют семантическое тождество [Кубрякова 1970; 1974]; (3) если сегмент однажды выделен с помощью критериев (1) или (2), то он выделяется и во всех других сочетаниях, где употреблен с тем же значением, например, *-ин-* в *буженина* не выделяется ни посредством критерия (1), ни посредством критерия (2), но эта же морфема выделяема методом квадрата в других словах, ср. *олень* : *оленина* = *баран* : *баранина*, и явно употреблена в том же значении в *буженина*; (4) сегмент, оставшийся после вычленения морфемы с помощью критериев (1–3), является морфемой (или содержит морфему), например, *бужен-* в *буженина* [Винокур 1959]; (5) если с помощью критериев (1–4)

вычленяется сегмент, которому невозможно приписать какое бы то ни было значение, то сегментация считается недействительной и сегмент признается частью одной из соседних морфем. Например, *-сь* в *грелись* можно выделить с помощью трех квадратов наподобие *греть : грелись = мыть : мылись, грела : грели = мыла : мыли* и *грел : грет = мыл : мыт*. После этого *-сь-*, казалось бы, можно выделить в *грелся*. Однако остающемуся при этом сегменту *-а* невозможно приписать какое бы то ни было значение, поэтому сегментация должна быть сочтена недействительной: в сегменте *-ся* не содержится морфема *-сь-*, имеются алломорфы *-ся* и *-сь* одной и той же морфемы, распределенные дополнительно относительно известных фонологических условий.

Именно последний пункт в перечне процедур вычленения морфем показывает, почему невозможно согласиться с наличием сегментов, не являющихся морфемами и вместе с тем вычленяемых в качестве самостоятельных единиц наравне с морфемами. Если бы мы признали реальность такого рода единиц, то был бы утрачен принцип невыделимости асемантических сегментов, во всем остальном удовлетворяющих формальным критериям членения, и пришлось бы согласиться с морфологическим расчленением сегментов наподобие *-ся* (на *-сь* и *-а*), т. е. согласиться с заведомо абсурдными результатами.

Единственным «противовесом» этому могло бы быть следующее соображение: в общем случае асемантические сегменты выделять не следует, но это возможно и даже необходимо там, где обязательно требуются особые средства для выражения связи между морфемами, и есть все основания полагать, что /89//90/ интересующие нас сегменты именно данную функцию и выполняют. Дело, однако, в том, что нет, по-видимому, ни одного случая, где мы могли бы утверждать, что морфемы «не поддаются» соединению без помощи специальных средств, что такого рода средства действительно требуются обязательно.

Продолжая приведенную выше аналогию Лопатина, где связи между морфемами уподобляются связям между словами, можно сказать, что слова соединяются и без помощи специальных грамматических средств — способом примыкания: для очень многих языков он является ведущим и, кажется, нет языков, где примыкание не использовалось бы вообще. Тем более такая грамматическая техника — примыкание, когда важна лишь позиция, а сочетаемые компоненты «механически» соединяются друг с другом, — естественна для морфем.

Для связи слов (хотя и не во всех языках) используются, как известно, два других способа выражения грамматической связи: управление и согласование, когда слова, чтобы образовать грамматически цельное сочетание, должны изменять свою форму (оба или, чаще, одно из них). Не следует ли считать, что этот способ — вернее, его аналог на уровне морфологии — используется и для соединения морфем? Сложное

слово *радиостанция* образуется путем простого соположения («примыкания») морфем (основ), но морфема *пар*, чтобы соединиться с морфемой *ход* в слове *пароход*, должна принять «форму» *паро*. Формы слов, или словоформы, — это варианты слова как лексемы, т. е. аллолексы. «Формы» морфемы — это, естественно, ее алломорфы. Выбор между алломорфами *-ся* и *-сь* определяется фонологически. Выбор же между алломорфами *пар-* и *паро-* определяется морфологически — в том смысле, что здесь релевантна морфемная структура слова, в рамках которого сочетаются морфемы (иногда, возможно, и тип морфем).

Имеет ли алломорфия указанного вида отношение к морфонологии? Безусловно, да: всякая алломорфия кроме чисто супплетивной имеет прямое отношение к морфонологии, ибо одна из основных задач последней — изучение закономерностей варьирования морфем. Более сложный вопрос: можно ли говорить здесь о субморфах?

Что касается случаев типа *паро-* в *пароход*, *паровоз* и т. п., то при трактовке *паро-* в качестве целостного морфа — варианта морфемы *пар-* — в этом алломорфе обнаруживается отчетливо выделяющаяся незначимая переменная часть, и, следовательно, вопрос о том, присутствует ли здесь особая морфонологическая единица — субморф *-о*, можно считать законным. Необходимы лишь формальные основания, которые позволили бы более или менее однозначно выделять субморфы и, возможно, их разновидности, подтипы.

5. Начать целесообразно с того, о чем говорилось во вступительных замечаниях к этой главе и что, в сущности, вызы-/90//91/вает к жизни проблему субморфа: с «морфемоподобности» субморфа. Если субморф внешне схож с морфемой, но лишен плана содержания, то и для его выделения, вероятно, пригодны формальные критерии и процедуры, используемые для вычленения морфем, но только с поправкой на асемантичность субморфа. Соответственно можно предложить следующие принципы выделения субморфов.

Субморфы вычленяются методом квадрата, где один или два (но не более) сегмента, участвующие в квадрате, лишены семантизованности, и должно быть выполнено по крайней мере одно из двух условий: (1) Выделяемый сегмент, лишенный значения, встречается в качестве экспонента морфемы в других словах, причем формальное варьирование асемантичного сегмента и экспонента морфемы тождественно, что и дает возможность составить квадрат, например, *ос-ел* : *ос-л-а* = *коз-ел* : *коз-л-а*. На основании данного квадрата вычленяем в морфеме *осел* субморф *-ел/-л*. (2) «Остаток» после выделения субморфа встречается в качестве морфемы в других контекстах, где его значение тождественно семантике исходной морфемы, включающей субморф. Например, на основании квадрата *косм-ос* : *косм-ич-еск-ий* = *эн-ос* : *эн-ич-еск-ий* мы можем выделить субморф *-ос*: «остатки» *косм-*, *эн-* функционируют как корни в словах

космический, эпический, микрокосм, эпика и др. Вхождение в квадрат показывает неуникальность данного сегмента в данной функции, его воспроизводимость, аналогичную морфемной.

6. Проблема будет решена лишь частично, если, как это сделано выше, мы выделим класс морфемоподобных незначимых единиц. «За бортом» останутся такие сегменты в составе морфемных экспонентов, которые также обладают вариабельностью и в этом отношении противоплагаются неизменяемым частям морфем, но критериям, изложенным выше, не удовлетворяют. Например, при варьировании типа *рука ~ ручка, мука ~ мучка* явно выделяются изменяемые и неизменяемые части, но вычленив субморфы, пользуясь описанными процедурами, здесь нельзя. Между тем число изменяемых сегментов типа *-к/-ч* в языке обычно не очень велико, поддается систематизации, и полное морфонологическое описание должно, очевидно, отражать и эти случаи — в той мере, в какой они не сводятся к перечню чередований, усечений, наращений и т. п.

Можно предложить широкое и узкое толкование понятия «субморф». В широком смысле это любая изменяемая, усекаемая, наращиваемая часть морфемы, в узком смысле — такая изменяемая (усекаемая, наращиваемая) часть морфемы, которая обладает «морфемоподобием», определяемым в соответствии с изложенными выше принципами. Для понятия субморфа в узком смысле можно ввести специальный термин — «морфоид». Возможен и особый термин для субморфов в широком [/91//92/](#) смысле, не являющихся морфоидами: «морфотемы»⁶. Тогда субморфы — в широком смысле — будут делиться на две разновидности: морфоиды и морфотемы.

По-видимому, морфоид всегда противоплагается неизменной части экспонента морфемы, которая выступает как морфонологическое «ядро», морфонологическая «основа» последней. Что же касается морфотем, то в разных контекстах могут изменяться разные сегменты морфемы, и вся морфема (ее экспонент) в таких случаях будет состоять из морфотем, не имея стабильной части. К этому случаю и относятся упоминавшиеся в гл. II примеры *холод-*, *молод-*, которые состоят из морфотем *хол-од*, *мол-од* соответственно, каждая из которых в основном сохраняет консонантизм, но меняет огласовку (*холод*, *холодный*, *молод*, *моложе* и т. п.). Это дает нам возможность уточнить редакцию определения основного варианта морфемы, о котором речь шла в гл. II: в качестве основного может считаться такой вариант морфемы, который либо реально представлен в тексте как целое, либо в тексте фигурирует в составе той же морфемы его субморф-морфоид с «морфонологической основой» или же морфотемы.

⁶ Этот термин был впервые использован Ю. С. Масловым [Маслов 1968b].

Возможна каталогизация и классификация морфоидов и морфоттем. Простейшая классификация — по позиции; например, в морфемах *огурец*, *конец*, *отец* выделяется конечный морфоид *-ец/-ц/-еч/-ч*.

Как можно видеть, морфоиды обладают еще и тем сходством с морфемами, что есть все основания говорить об их основных вариантах; например, для варьирующего морфоида *-ец ~ -ц ~ -еч ~ -ч* основным вариантом будет *-ец*. У морфоттем, по-видимому, нет основных вариантов, иерархия между альтернантами, составляющими морфоттему, совпадает с иерархией самих альтернантов в системе морфонологических средств языка.

7. Выяснив принципиальные основания выделения субморфов как особых единиц, можно обратиться к анализу некоторых спорных случаев, обсуждаемых в имеющейся литературе. В последнее время, как известно, наблюдается определенная «экспансия» понятия и термина «интерфикс»: если традиционно это понятие относилось к обсуждавшимся выше морфемам, соединяющим корни в составе сложного слова, то в работах Е. А. Земской и других авторов в качестве интерфиксов трактуются, например, и сегмент *-ов-* в *орловский*, и основообразующие аффиксы, в том числе тематические гласные глаголов, а иногда и гласные элементы падежных и глагольных флексий, т. е. *-а-* в *-ами*, *-ах*, *-ам*, *-и-* в *-ишь*, *-ит* и т. д.⁷ Основанием служит то обстоятельство, что эти сегменты, как считают, соединяют корень с аффиксом (окончанием) или один аффикс с другим [Земская 1964а; 1964б; 1973].

Если принять, что интерфиксы указанного вида являются морфемами-аффиксами, которые укладываются в классификацию аффиксов по позиционному признаку, то следует учесть, что в такой классификации все остальные аффиксы находят свое место в системе на основании позиции относительно корня — во всяком случае, все они обслуживают корень. Последняя оговорка нужна потому, что в некоторых языках имеются аффиксы, которые «поверхностно» взаимодействуют не с корнем, а с другим аффиксом. В частности, в тагальском языке известны инфиксы, вставляющиеся не в корень, а в префикс, и выделяется даже специальный класс инфиксов, которые могут вставляться только в префикс [Рачков 1981]. Однако функционально такой инфикс все равно принадлежит корню в том смысле, что, подобно другим аффиксам, он модифицирует лексическое и/или лексико-грамматическое значение слова, обусловленное корнем⁸. Традиционные интерфиксы

⁷ Некоторые авторы выделяют такого рода сегменты в составе окончаний-формативов, хотя и не всегда дают им определенную морфологическую квалификацию. Так, Э. Паулини в словацких формах *kurujem*, *stojim* усматривает трехморфемные сочетания *-j-e-t* и *-j-i-t* соответственно [Паулини 1982], а Р. Якобсон глагольные окончания в *смотришь*, *печешь* и т. п. представляет как *-i-š*, *-o-š* [Jacobson 1948: 156].

⁸ Возможно, применительно к такого рода тагальским инфиксам следовало бы считать,

наподобие *-о-*, *-е-* в *пароход*, *землемер* (хотя выше было показано, что в действительности их не следует считать таковыми) удовлетворяют этому условию: они обслуживают корни. Но «новые» интерфиксы типа *-ов-*, а особенно типа *-й-* в *знают* уже не обслуживают исключительно корни, а соединяют корень с аффиксом или даже аффикс с аффиксом.

Еще существеннее вопрос о том, несут ли интересующие нас сегменты значения и, если да, то какие.

Упомянутые выше типы «интерфиксов» с этой точки зрения следует рассматривать дифференцированно. Начнем с тематических гласных, иначе считаемых также основообразующими аффиксами: *-а-* в *писать*, *-и-* в *носить* и т. п. Прежде всего нет сомнения в том, что тематические гласные можно формально выделить с помощью процедур морфемного анализа, которые описывались выше. Но это не гарантирует морфемного статуса, если не учитывается значение, а спорна именно семантизованность данных сегментов.

По-видимому, наиболее заслуживающая внимания трактовка заключается в том, что тематические гласные указывают на «глагольность» соответствующих слов, т. е. служат своего рода «индикаторами класса» [Маслов 1968b], «классовыми показателями» [Панов 1966]. Нам представляется, что такой подход нужно интерпретировать следующим образом. В русском языке корень не маркирован с точки зрения частеречной принадлежности: один и тот же корень может выступать в составе слов, принадлежащих к разным частям речи, например, *красный* — *краснеть* — *краснота*. Однако по виду основы слова, как правило, уже можно сказать, к какой части речи принадлежит соответствующее слово. Функция тематических гласных как раз и состоит в том, чтобы образовывать основу глагольных слов.

Если сформулированное положение верно, то из него, конечно, еще не следует, что наличие тематического гласного говорит о глагольности данного слова. Например, в словах *читатель*, *писатель* и т. п. сохраняются тематические гласные, которые свидетельствуют лишь о том, что существительные образованы от глаголов⁹. Точно так же никаких выводов нельзя сделать из того, что при образовании ряда отглагольных существительных тематические гласные, наоборот, опускаются, ср. *читка*, *качка* и т. п.: речь идет не о том, что тематические гласные — необходимые показатели глагольности, а, скорее, о том, что они достаточные показатели¹⁰. Иначе говоря: если в состав основы

что они вставляются не в корень, а в основу слова.

⁹ Ср.: *Киев* → *киевский* → *Киевщина*. В последнем существительном сохраняется суффикс прилагательного *-ск-* (в варианте *-щ-*), который указывает лишь на деривационную историю существительного. Аналогично: *камень* → *каменистый* → *каменистость*.

¹⁰ Из «достаточности» здесь не следует, что другие маркеры глагольности

словоформы входит тематический гласный, то словоформа либо является глаголом, либо принадлежит лексеме иной части речи, которая (лексема) образована от глагола. С последним утверждением, по-видимому, нужно согласиться — а это и означает признание семантизованности тематических гласных.

Таким образом, тематические гласные выделимы процедурами морфемного анализа и обладают значением¹¹ — хотя и очень широким, абстрактным. Следовательно, традиционная трактовка этих сегментов в качестве особых морфем — основообразующих аффиксов — вполне корректна¹².

Следующий вопрос: возможно ли какое бы то ни было выделение гласного элемента в именных и глагольных флексиях? /94//95/ Кажется ясным с самого начала, что не может быть и речи о морфемном статусе соответствующих сегментов: трудно представить себе, какого рода могла бы быть их семантизованность. Более того, как будто бы невозможно построить ни одного полного квадрата, даже если мы оставим в стороне вопрос о семантизованности гласных элементов флексий. Эти элементы частично повторяются в разных флексиях той же парадигмы (ср. *рук-ам, рук-ами, рук-ах* или *реж-ет, реж-ем, реж-ешь* и т. п.), что и наводит, вероятно, на мысль об их выделимости. Однако любая вычленимость должна основываться на некоторых формальных основаниях, процедурах, в нашем же случае это — основное — условие оказывается невыполнимым. Следовательно, гласные элементы флексий невыделимы не только как морфемы, но и как субморфы.

Наконец, последний из перечисленных «казусов» — статус сегментов типа *-ов-* в *орловский*, *-ин-* в *ялтинский* и т. п. Из двух возможных — и реально существующих — точек зрения (морфемы-интерфиксы и субморфы в составе аффиксов) мы считаем корректной вторую: квалификацию *-ов-*, *-ин-* и т. п. в качестве субморфов. Эти

факультативны: у глагола на его частеречную принадлежность указывает вся парадигма с ее системой показателей. Имеется в виду лишь то, что уже по наличию тематического гласного можно «диагностировать» глагол (или отглагольное слово).

¹¹ Говоря «выделимы процедурами морфемного анализа и обладают значением», мы не хотим сказать, что процедуры морфологического анализа не учитывают значения (см. об этом выше, с. 89 сл.): как уже излагалось, формальные процедуры морфемной сегментации могут быть употреблены и для выделения асемантических, односторонних единиц — субморфов.

¹² Наша трактовка оказывается прямо противоположной трактовке В. В. Лопатина, который считает традиционные интерфиксы наподобие *-о-* в *пароход* морфемами, а тематические гласные — субморфами [Лопатин 1977]. Такое «разночтение» не столь удивительно, когда решение проблемы во многом упирается в толкование семантики — материи, как известно, «тонкой». Мы надеемся, что представили достаточные аргументы в пользу своей точки зрения (которая в понимании тематических гласных совпадает с традиционной).

сегменты нетрудно выделить с помощью квадрата, а еще проще — с опорой на принцип остаточной выделяемости, но никто, кажется, не давал удовлетворительной семантической интерпретации такого рода элементам, и вряд ли она возможна. Следовательно, *-овск-*, *-инск-*, *-ск-* — алломорфы одной и той же морфемы, причем два первых алломорфа содержат субморфы *-ов-*, *-ин-* соответственно¹³.

МОРФОНЕМА

8. По мнению некоторых авторов, в морфонологии существуют две единицы соподчиненных уровней: субморф и морфонема. Субморф выступает при этом, если пользоваться терминологией Е. Д. Поливанова, как единица-максимум морфонологии, а морфонема — как единица-минимум. Их соотношение предстает изоморфным связи слога и фонемы в фонологии, слова и морфемы в морфологии, предложения и словосочетания (фразы) в синтаксисе. «Морфонема является элементарной единицей морфонологического уровня [...] Субморф — высшая единица морфонологии» [Чурганова 1973: 34, 37].

Выше мы видели, что субморф вряд ли можно счесть универсальной единицей морфонологии. Какова роль морфонемы?

Мы не будем здесь говорить об истории понятия морфонемы (см. об этом: [Аронсон 1974; Реформатский 1955; Kilbury 1974]), обратимся к тем определениям морфонемы, которые можно найти в литературе последних десятилетий, а также, естественно, к исследовательской практике соответствующих авторов. /95//96/

8.1. Начнем с отечественных трудов. Использование этого понятия в работах отечественных лингвистов, в общем, не слишком распространено. Наиболее органично оно, по-видимому, для авторов, близких к традиции Р. И. Аванесова. Это неудивительно, ибо в концепции Аванесова представлено понятие, которое введено именно для того, чтобы обеспечивать связь фонологии и морфологии, — фонемный ряд. Фонемный ряд, как известно, это набор фонем, чередующихся в данной позиции в составе той же морфемы, т. е. при сохранении тождества морфемы. Иначе говоря, это класс фонем, находящихся в отношении автоматического варьирования в данной позиции в составе данной морфемы. Наиболее простое решение здесь — приравнять понятия фонемного ряда и морфонемы, что и делает В. Г. Чурганова, а в одной из последних работ и сам Р. И. Аванесов [Аванесов 1976]¹⁴.

¹³ В. В. Лопатин в этих случаях говорит о «левом наращении» морфов [Лопатин 1977].

¹⁴ Р. И. Аванесов предпочитал вариант термина «без гаплогонии», т. е. «морфофонема», считая, что термин «морфонема» имеет слишком много толкований [Аванесов 1976: 8]. Это понятно еще и потому, что здесь ощущается прямая преемственность с положением, согласно которому фонемный ряд лежит в основе

«Морфонема — единица, отражающая единство сильных и слабых фонем данного класса, рассматриваемых в качестве компонента реальной морфемы (морфа)» [Чурганова 1973: 35]. Там же дается и несколько отличающееся определение: «Единство фонем каждого... ряда, занимающего определенное место в морфеме и распределяющего свои составляющие в зависимости от фонологических позиций... называется морфонемой» [Чурганова 1973: 34–35]. Приведенные определения вызывают целый ряд вопросов. Главные из них заключаются в следующем: морфонема — это класс или единица? Что является компонентом плана выражения реальной морфемы (морфа) — морфонема или фонемы, входящие в соответствующий класс?

Известно, что в логике существуют интенциональный и экстенциональный подходы; согласно второму из них, можно представить в качестве класса — множества энок, — например, любое отношение. Но в нашем случае речь идет определенно не об этом. Если морфонема — особая единица, то экспоненты морфем слагаются именно из морфем, а не из фонем. Если морфонема — класс фонем, то это просто более или менее удобное обозначение для множества фонем, чередующихся в соответствующих условиях, сама же морфонема не является единицей, и экспоненты морфем разложимы на фонемы, а не на морфонемы.

Совмещение представлений о классе и единице может быть достигнуто следующим образом: выделяется класс фонем, чередующихся в данных условиях, затем классу сопоставляется абстрактный объект, вбирающий все общее, присущее его членам, и этот объект называется морфонемой. При таком подходе получает оправдание и представление о классе, и трактовка /96/ /97/ морфонемы как единицы, а общая картина получается изоморфной «конструированию» фонемы на базе класса приравненных фонем.

Вместе с тем обрисованная выше возможность интерпретации понятия морфонемы не кажется вполне приемлемой. При трактовке морфонемы как абстрактного объекта, сопоставленного классу морфонологически тождественных фонем, должно предполагаться, что морфонема — инвариант, представленный набором вариантов (чередующихся фонем). Именно таково соотношение между фонемой и (алло)фонами в фонологии. Однако в фонологии инвариантность каждой фонемы поддерживается только ей присущим постоянным набором дифференциальных признаков. Чем, кроме самого факта принадлежности к одному классу чередующихся фонем, может создаваться инвариантность «вариантов» морфонемы? Какими можно представить себе варианты морфонемы в тех случаях, когда морфонологические процессы состоят не в чередованиях, а в опущении или приращении фонем?

морфофонематической транскрипции [Аванесов 1955].

Существенно также, что варианты фонемы — это (алло)фоны, и если предполагать наличие изоморфизма в строении фонологии и морфонологии, то вариантами морфонемы должны быть не единицы другого уровня — фонемы, а, скажем, (алло)морфоны¹⁵.

8.2. Итак, трактовка морфонемы как инвариантной единицы оставляет открытым вопрос о том, чем обеспечивается эта инвариантность. Остается, стало быть, понимание морфонемы как класса чередующихся фонем, но в этом случае необходимость введения специального понятия и термина для обозначения такого класса отнюдь не очевидна (к тому же сам класс, как отмечалось, отражает не все случаи варьирования морфемы, не учитывая элизии, аугментации и метатезы).

Кажется бесспорным также, что класс чередующихся фонем должен включать не только фонемы, находящиеся в отношении автоматического чередования, но и все прочие, сменяющие друг друга в результате морфонологических процессов. В то же время включение «слабых фонем» по Аванесову делает класс гетерогенным, поскольку заставляет вводить в него не только самостоятельные фонологические единицы, но в ряде случаев их варианты. Иначе говоря, класс морфонологически связанных фонем не равен фонемному ряду Аванесова; с одной стороны, он шире последнего, с другой — уже его.

Итак, безусловно реальны классы чередующихся фонем; они должны носить исчерпывающий характер, т. е. включать все фо-/97//98/немы, имеющиеся в системе данного языка, которые могут сменять друг друга при варьировании экспонента морфемы, и только их. Но представления о морфонеме — особой единице, существующей наряду с такими классами или вместо них, ничего не добавляет к возможностям адекватного описания реальных процессов.

9. Особую концепцию выдвинул М. Клостер-Енсен. Он предлагает ввести понятие аллофонемы, определяя эту единицу как член класса фонем, которые не противопоставлены друг другу, поскольку замена одной на другую не приводит к замене морфемы [Kloster-Jensen 1971]. В этом случае, как считает автор, необходимость в особой единице — морфонеме — отпадает.

Но и аллофонема Клостера-Енсена выделима как особая единица только лишь в том случае, если в качестве основной функции фонемы видится дистинктивная: «...в морфонологии... фонемы играют полностью негативную роль, они теряют свою функцию как дифференциации, так и делимитации» [Kloster-Jensen 1971: 62]. Соответственно фонема,

¹⁵ В некоторых работах этот термин действительно используется, но либо «алломорфон» предстает как, скорее, механическая замена составного термина «фонема, участвующая в чередованиях» [Золхоев 1980], либо же понятие «морфон» приобретает особое толкование, как в теории стратификационной фонологии, что мы сейчас не можем обсуждать.

призванная прежде всего обеспечивать различие, но с необходимостью утрачивающая эту функцию в некоторых условиях, приобретает, по Клостеру-Енсену, статус специфической единицы. Однако это рассуждение обнаруживает и теоретические слабости, и эмпирическую неточность. С теоретической точки зрения здесь важнее всего, конечно, что основной функцией фонемы является не дистинктивная, а конститутивная (см. [Касевич 1983b]), а эта функция всеми фонемами, чередующимися в составе той же морфемы, продолжает выполняться. Эмпирическая неточность заключается в том, что хотя фонемы, сменяя друг друга при чередованиях, не различают морфем, они различают варианты последних, что немаловажно для морфологии. Стало быть, они не лишены полностью и дистинктивной роли, служа дополнительными маркерами морфологических категорий (см. гл. I).

Понятие аллофонемы, таким образом, оказывается основанным на сомнительных посылках.

10. Специфична также позиция Е. Куриловича [Kuryłowicz 1967; 1968], который признает морфонему центральным понятием морфонологии: «Подобно тому, как фонема является центральным понятием (*Grundbegriff*) фонологии, а морфема — морфологии, морфонема есть центральное понятие морфонологии» [Kuryłowicz 1967: 158]. Отмечая далее неопределенность понятия морфонемы, Курилович предлагает исходить прежде всего из избыточности, необязательности морфонологических явлений с точки зрения морфологии, синтаксиса, семантики. При этом имеется в виду, что, скажем, образование множественного числа от нем. *Band* осуществляется посредством прибавления показателя *-er*, поэтому форма **Bander* была бы фонологической, а не морфологической ошибкой: с точки зрения морфологии в умлауте «нет /98//99/ необходимости», это последняя стадия формообразовательного процесса, морфологически необязательная [Kuryłowicz 1968: 71].

С таким подходом, несомненно, следует согласиться. Однако далее Курилович совершает фактически подмену понятий, проходящую как бы два этапа. Сначала из грамматической и семантической избыточности морфонологических изменений делается вывод об их незначимости. С этим, опять-таки, можно согласиться — морфонологические явления сами по себе незначимы, хотя логика вывода небезупречна: предсказуемость не обязательно эквивалентна незначимости, но только лишь тогда, когда данный элемент или явление предсказуемы во всех возможных контекстах. Из положения о незначимости морфонологических явлений Курилович, в свою очередь, выводит, что если некоторая единица незначима, то она является морфонемой. Поэтому морфонемами у него оказываются, например, «соединительные гласные и согласные», что иллюстрируется *-i-* в санскритских формах будущего времени *kar-i-ṣyāti*,

ban-i-ṣyāti, *stav-i-ṣyāti*, где «наличие *i* зависит от структуры корня, оно появляется после сонантов *r*, *n*, *m* или глайдов *y*, *v*» [Kuryłowicz 1968: 71]. Поэтому, по Куриловичу, подобно тому, как образование формы нем. *Bänder* нужно представлять в виде *Band* → **Bander* → *Bänder*, образование скр. *kariṣyāti* будет иметь вид *kar* → **kar-ṣyati* → *kar-i-ṣyati*, и, коль скоро *ä* в *Bänder* является морфонемой, морфонемой нужно признать также *-i-*. Иначе говоря, Курилович не видит разницы между меной (чередованием) и приращением фонемы.

Следующим логическим этапом в развитии концепции Куриловича выступает отождествление незначимости и немаркированности: по Куриловичу, индоевропейские окончания *-s* ед. ч. им. п., *-t*; 3-го л. ед. ч. наст. вр. индикатива, являясь показателями «нейтральных», т. е. немаркированных, исходных форм соответствующих парадигм, должны быть признаны не морфемами, а морфонемами [Kuryłowicz 1968: 74]. Аналогично в латинской субстантивной парадигме окончание *-us* им. п. ед. ч. м. р. — это «избыточный морф», поэтому соотношение *bonus* : *bon-ī* (род. п.) = *bona* : *bona-ī* (*bonae*) должно быть реинтерпретировано как *bon* : *bon-ī* = *bona* : *bona-ī*, ибо *-us* здесь не морфологический, а морфонологический элемент, морфонема [Kuryłowicz 1968: 76].

С этой концепцией морфонемы едва ли можно согласиться. Уже неразличение альтернатив и аугментации — отождествление с морфонемой как конечного члена альтернативного ряда, так и «соединительных гласных (согласных)», которые с нашей точки зрения являются субморфами, не может быть принято. Еще меньше оснований считать морфонемами показатели немаркированных форм. Так, немаркированность *bonus* в противоположность *bona* определяется, по Куриловичу, мужским родом *bonus*, отсюда в качестве показателя им. п. ед. ч. м. р. принимается нулевое окончание, *us* же объявляется морфонемой. /99//100/

Обратимся к материалу санскрита. Здесь, очевидно, формы ед. ч. им. п. аналогичным образом должны трактоваться как немаркированные. Окончаний им. п. ед. ч. м. р. в санскрите несколько, по числу парадигм, и не ясно, чем объяснить отличие, скажем, окончаний в *devah* или *agnih* от окончаний в *marut* или *ṣreyan*: ведь, согласно Куриловичу, во всех этих формах, в силу их немаркированности, содержатся нулевые окончания, но в *devah*, *agnih* есть «дополнительно» *-h(-s)*, а в *marut*, *ṣreyan* — «абсолютный» нуль, и получается, что все различие — в наличии/отсутствии «морфонемы» *-h(-s)*, хотя традиционно парадигмы считаются противопоставленными морфологически, а не морфонологически.

Можно заметить, правда, что вариантность парадигм в принципе может обеспечиваться и морфонологическими средствами, и

«полиморфемность» флексий иногда рассматривается как нечто параллельное альтернированности основ [Смиренский 1975: 169]. Тем не менее «полиморфемность» флексий — это, иначе, их синонимия, а отношение синонимии может существовать лишь между значащими единицами, в то время как морфонологические средства, как справедливо подчеркивает и сам Курилович, являются незначимыми.

Таким образом, расширенное понимание морфонемы, предложенное Е. Куриловичем, трудно принять, и не случайно, что оно как будто бы не нашло сторонников и последователей.

11. Наиболее широко распространены в области морфонологии генеративистские концепции. Как уже отчасти упоминалось ранее, в ортодоксальной генеративной фонологии существуют два вида правил и три вида записи, относящиеся к звуковой форме морфем. Правила различаются как условия фонологической записи морфем (Morpheme Structure Conditions) и (мор)фонологические правила. Первый вид правил определяет условия и ограничения на форму записи морфем в словаре. Правила второго рода применяются к словарным записям морфем, они заменяют, опускают, добавляют фонемы или их признаки таким образом, чтобы «на выходе» получить необходимые текстовые варианты. Последние даются в «системно-фонетической» записи в отличие от «системно-фонологической» словарной. Третий вид записи — это все промежуточные формы, которые принимают морфемы при переходе от словарного облика к текстовому, они никак не дифференцируются и не определяются. Выделяются только два уровня: морфонологический, он же (системно-)фонологический, и (системно-)фонетический; ликвидируется не понятие морфонемы, а понятие фонемы, хотя сам термин сохраняется для удобства (т. е. под «фонемой» подразумевается «морфонема»).

Отметим в этой связи лишь два обстоятельства. Как не раз отмечали, и некоторые фонологи, ведущие анализ звукового /100//101/ строя языка в русле генеративистских идей, системно-фонетическая запись ни в одной из существующих работ не давала всей информации, которая отражала бы реальное звучание, произнесение всех звуковых сегментов в составе соответствующих морфов, в данных позициях, т. е. была бы действительно фонетической. Более того, системно-фонетическая запись за небольшими исключениями оказывается совпадающей с обычной фонологической записью традиционной фонологии (ср., например, [Shibatani 1973; Wang 1968]). Иначе говоря, лишь декларативными оказываются утверждения о совпадении морфонологии и фонологии при выделении фонетики: в действительности, в реальной исследовательской практике генеративистов, фонолог «не доходит» до представления объективной фонетической картины, а кончает процесс порождения текстовых вариантов обычной фонологической записью, которая, естественно, не совпадает с

морфонологической. Фонология и морфонология не совпадают, а фонетика просто не представлена.

Морфонемы генеративистов описываются в терминах дифференциальных признаков. Если считать морфону инвариантом, сохраняющимся во всех текстовых разновидностях, то разброс этих вариантов будет во многих случаях столь велик, что окажется невозможным подвести все варианты под один и тот же набор дифференциальных признаков. Генеративная фонология выходит из положения за счет того, что порождение описывается в смешанных терминах: морфем, которые представлены экспонентами — последовательностями наборов дифференциальных признаков. Функция фонологических правил — заменять признаки или их значения. Однако морфонемы, по логике самого понятия, должны иметь признаки не чисто фонологической природы, а как-то отражающие морфологические функции этих единиц. Непосредственная характеристика морфем в терминах дифференциальных признаков еще больше смещает реальные соотношения разных языковых единиц.

В сущности, в генеративном описании языка мы не имеем дела ни с фонологией, ни с морфонологией, ни с фонетикой. Фонолог-генеративист начинает с «готовых» (панлингвистических) дифференциальных признаков, прилагает их к описанию плана выражения морфем в словаре и затем, через обширную «нейтральную зону» — промежуточные варианты неопределенного статуса — приходит опять к тем же дифференциальным признакам, только иначе распределенным.

Правда, Хомский и Халле утверждают, что признаки фонологического уровня отличаются от признаков фонетического: первые всегда бинарны, они принимают значения «плюс» и «минус» или же «маркированный» и «немаркированный», а последние (фонетические) *n*-арны, они выступают как конкретные указания на ту или иную характеристику, например, степень придыхательности [Garde 1976]. Однако в действительности, если бы /101//102/ эта программа была реализована, она потребовала бы введения еще одной записи — собственно-фонетической.

Таким образом, мы можем заключить: 1) если генеративисты считают необходимым выделять особый фонетический уровень, то в их системе реально должно быть не два уровня, а три, где место третьего займет ныне отсутствующий подлинно фонетический уровень; 2) если системно-фонетический уровень на самом деле является фонологическим, то очевидно, системно-фонологический не может быть также фонологическим, он будет признан морфонологическим (где морфонология уже не равна фонологии); 3) даже и при таком варианте описания остается неясным функциональный статус всех промежуточных форм между морфонологической и фонологической записями.

Таким образом, введение в лингвистическое описание морфонемы в ее генеративистской редакции при одновременном исключении фонемы признать нельзя.

Действительная ситуация представляется иной. Основной (словарный) вариант морфемы (его экспонент) описывается в терминах фонем — но в терминах фонем описываются и все остальные варианты, как промежуточные, если они есть, так и текстовые. Не должно и не может быть никакой «нейтральной зоны» — такой, что попадающие в нее варианты морфем описывались бы в терминах «неизвестно каких» единиц, не имеющих системного, функционального, статуса. Не существует (сегментных) единиц языка, которые не могли бы быть описаны как последовательность морфем, с одной стороны, и последовательность фонем (слов) — с другой. Переход от основного варианта фонемы ко всем остальным заключается не в смене уровня, а в фонологическом варьировании экспонента морфемы, вызываемом контекстом.

Глава VI
ПРОСОДИЧЕСКАЯ МОРФОНОЛОГИЯ

1. Морфологические процессы могут сопровождаться закономерными просодическими изменениями. При формо- и словообразовании ударение либо сохраняет свою закрепленность за тем или иным компонентом слова, либо (в языках с подвижным ударением) перемещается. Не владея информацией о сохранении/несохранении места ударения и о правилах его переноса, мы не знаем, как строятся словоформы и дериваты.

В последнее время появилось много работ, в частности, на материале русского и других славянских языков, описывающих так называемые акцентные кривые (схемы ударения), акцентные парадигмы. Как известно, акцентная кривая — это тип рас-/102//103/пределения ударений по разным формам одной и той же лексемы. В том же смысле иногда употребляется и термин «акцентная парадигма». Иногда под акцентной парадигмой имеют в виду характеристику класса лексем, в отличие от акцентной кривой, относящейся к индивидуальным лексемам. Существует и трактовка акцентной парадигмы как «совокупности акцентных кривых производящих и производных слов» [Редькин 1971: 9]. Мы не будем различать эти понятия, для всех случаев пользуясь термином «акцентная кривая».

Не имея возможности обсуждать весь комплекс проблем, относящихся к акцентологической морфонологии, затронем лишь два вопроса. Первый сформулируем так: какую связь между типом (признаками) слова и его акцентологическим «поведением» отражает акцентная кривая? В принципе правила акцентуации слова в процессах формо- и словообразования могут определяться: (а) фонологическим обликом слова, сегментным и акцентным; (б) его морфонологическими характеристиками; (в) морфологическими признаками слова, где в качестве подтипов выступают морфемный состав и принадлежность к тому или иному классу (подклассу), в первую очередь к части речи; (г) семантическими свойствами слова; (д) прагматическими факторами. Возможны, конечно, и различные комбинации указанных случаев.

Если устанавливается закономерность акцентуирования, например, односложных слов, слов, завершающихся на определенные фонемы или их сочетания, слов, имеющих в исходной форме начальное, конечное или какое-либо иное ударение, то мы имеем дело со случаем (а). Когда в правилах учитывается, скажем, наличие в слове беглой гласной, то можно говорить о случае (б). Акцентуирование слов, определяемое их односложностью и принадлежностью к существительным мужского рода [Зализняк 1977], отражает комбинацию (а) и (б). Роль семантических свойств слова — случай (г) — можно проиллюстрировать русскими

существительными со значением национальной или географической принадлежности: если они не содержат определенных суффиксов (*-ик*, *-ич* и некоторых других), то в склонении сохраняют ударение на основе [Зализняк 1977: 89]. Прагматические факторы (случай (д)) — это большая/меньшая «привычность» слова для данного носителя языка: в русском языке «привычные» существительные характеризуются переносом ударения на окончание, «непривычные» — его сохранением на основе (ср. *бо́цманы* в общелитературном языке и *боцманá* в языке моряков [Зализняк 1977: 76–77]).

Отдельно, хотя и очень кратко, остановимся на зависимости типа акцентной кривой от морфемного состава слова. Необходимо различать два подхода к установлению такой связи. Согласно первому, зная определенные свойства слова, прежде всего его морфемный состав, можно установить место ударения /103//104/ в любой словоформе, включая словарную. Иначе говоря, ударение в словаре — информация излишняя. Такая точка зрения свойственна многим представителям порождающей фонологии (ср. гл. II, с. 44). Согласно второму подходу, в языках со свободным ударением его позиция в словарной форме в целом непредсказуема. Ударение основной формы — элемент словарной информации, а в косвенных словоформах и дериватах оно определяется по правилам.

Последний подход, безусловно, более реалистичен. Но для большинства языков с подвижным ударением, в том числе для русского, и он требует оговорок и уточнений. Чаще всего для производного слова тип его акцентной кривой тоже должен указываться в словаре. Рассматривая закономерности акцентуирования производных существительных мужского рода в русском языке, В. А. Редькин, например, пишет, что «к акцентной кривой А относятся все производные имена существительные, не включенные в списки слов, относящихся к остальным акцентным кривым» [Редькин 1971: 14]. Иначе говоря, чтобы установить принадлежность слова к акцентной кривой А, нужно просмотреть списки слов, относящихся к кривым В, С и D. Это как раз и означает, что не существует признаков, которые позволили бы определить акцентную кривую данных слов. Вместе с тем по крайней мере для некоторых подклассов производных существительных русского языка акцентная кривая может выводиться как наиболее вероятная, хотя и не абсолютно однозначно, по совокупности разных признаков [Зализняк 1977].

Что же касается акцентуирования производных слов, то оно действительно в общем случае определяется признаками самого слова. Для разных языков разработаны правила, позволяющие выяснить место ударения в производном слове на основании морфемного состава и других свойств. Оказывается, что одни морфемы «требуют» ударения: ср. суффикс *-анск(ий)* в таких словах, как *американский*, *англиканский*, *бирманский*, *перуанский*. При употреблении других ударение должно быть

слева или справа от данной морфемы: ср. *-ива/-ыва* в *отлынивать*, *организовывать*, *откладывать* и т. п. и *-ин(а)* в словах типа *ширина*, *толщина*, *белизна*. Когда в пределах одного слова встречаются морфемы с взаимно противоречивыми акцентными свойствами, необходимы дополнительные правила, подчас довольно сложные, для разрешения «конфликта» между «требованиями» разных морфем (подробнее см. гл. VIII, с. 149–150). Если сложность правил достигает некоторого критического порога, их реалистичность, целесообразность становятся проблематичными: проще бывает указать ударение производного слова в словаре, нежели использовать громоздкую систему правил, особенно если последние приложимы лишь к нескольким конкретным словам.

Второй вопрос, который кажется необходимым затронуть, го-
/104//105/воря об акцентной морфонологии, относится к принципам выведения акцентных кривых для классов слов. Акцентные кривые, эмпирически установленные для отдельных слов, затем совмещаются, налагаются одна на другую с целью выяснения их совпадения/несовпадения. Тождественными признаются те акцентные кривые разных слов, которые совпадают во всех своих точках. Например, акцентные кривые слов *конь* и *дом* не тождественны, поскольку в дательном падеже ударение слова *конь* конечное, т. е. на окончании, а у слова *дом* — неконечное, т. е. на основе.

Авторы, разрабатывающие проблемы русской морфонологии, исходят из того, что конечное и неконечное ударения выделяются лишь в силу оппозитивности их отношения. Соответственно, фиксировать тип ударения конкретной словоформы можно лишь тогда, когда применительно к этой словоформе есть реальная возможность выбора ударения — конечного или неконечного. В словоформе *коню* конечное ударение, так как оно противопоставлено теоретически возможному неконечному (*кóню*).

В русском языке существует множество словоформ, в которых выбора между конечным и неконечным ударением объективно нет. Это либо односложные словоформы наподобие *дом*, *рук*, либо словоформы с неслоговым корнем или окончанием, в последнем случае также и нулевым, например, *позвонок*, *сна*, либо, наконец, совмещение первого и второго случаев (ср. уже фигурировавшие *дом*, *рук*). Для таких словоформ, согласно излагаемой концепции, ударение определить невозможно: поскольку в них исключена оппозиция конечного/неконечного ударений, нельзя сказать, рассматривая только данную словоформу, конечное или неконечное ударение ей присуще.

Вместе с тем необходимость совмещения акцентных кривых отдельных слов для сведения их в акцентные классы требует, чтобы акцентные кривые были «без пропусков», так как нужно, как уже говорилось, проверить их совпадение/несовпадение во всех точках. Поэтому принима-

ется, что конечное/неконечное ударение приписывается словоформам, где эти два ударения не противопоставлены, на основании аналогии с какой-то другой словоформой той же парадигмы, в которой конечное и неконечное ударения противопоставлены и которая может быть принята в качестве диагностической. Диагностической считается та словоформа, относительно которой чисто эмпирически установлено, что акцентуацию всех прочих словоформ проще всего определять по данной, т. е. зная тип ударения диагностической словоформы, можно предсказать акцентуацию любой другой как «подстраивающуюся» под диагностическую.

В частности, для русских существительных диагностическими словоформами оказываются формы дательного падежа. Поэтому всем тем словоформам, где конечное ударение не противопоставлено неконечному, ударение приписывается «по дательному падежу». Например, в словоформе *стол*, согласно этому правилу, признается конечное ударение (ср. *столу*), а словоформа *дом* в отличие от этого получает неконечное ударение (ср. *дому*) [ГСРЛЯ; Зализняк 1964; Редькин 1971; РГ].

Думается, однако, что процедура приписывания ударения «по правилам» не оправдывает себя. Во-первых, словоформы типа *стол*, *рук*, для которых вводится специальное правило приписывания ударения (так называемого условного), в результате утрачивают свою специфику: их отличие от прочих словоформ состоит именно в том, что реально присущее им ударение — единственно возможное; морфологическое изменение приводит к приобретению словоформами такой фонологической структуры, которая однозначно определяет ударение, и как раз в этом особенность односложных словоформ. Можно сказать, что в концепции условного ударения прецедент забвению сама суть морфонологического описания просодики: это описание должно формулировать правила типа «если слово изменяется таким-то образом морфологически, то одновременно изменяется/не изменяется место ударения». Когда же мы имеем дело со словоформами *стол*, *дом* и т. п., особое правило просто не нужно, потому что просодическое оформление однозначно вытекает из фонологического облика словоформы.

Во-вторых, приписывание ударения по правилам, изложенным выше, очень часто ведет к непримиримому противоречию между фонологическим и морфонологическим описанием одного и того же факта. Действительно, словоформе *стол*, как уже говорилось, приписывается конечное ударение. В одной словоформе не может быть двух ударений, поэтому основа, надо полагать, здесь безударна. Эта основа представлена слогом /stol/, содержащим гласную /o/. Но по правилам русской фонологии безударный слог, за ничтожными исключениями, не может содержать фонему /o/. Следовательно, морфонологическое и фонологическое описания здесь явно отрицают друг друга. Поскольку нет как будто бы

оснований сомневаться в истинности фонологического, под вопросом оказывается морфонологическое¹.

В пользу условного ударения говорит большая экономность описания: как показал А. А. Зализняк [Зализняк 1964], число различающихся акцентных кривых — наименьшее, если используются процедуры приписывания условного ударения. Но, как уже неоднократно отмечалось, соображения относительно экономности описания не могут быть решающими.

А. Мустайоки [Мустайоки 1980], не возражая против понятия условного ударения в принципе, не считает возможным приписывать /106//107/ условное ударение, отличающееся от действительного, словоформам именительного падежа как исходным. Безусловно справедливо, что представления о «вынужденном сдвиге» ударения [Зализняк 1967: 179] в исходных словоформах выглядят особенно неубедительными. Но сомнителен, как мы старались показать, сам принцип приписывания условного ударения.

Нетрудно видеть, что вся процедура приписывания условного ударения вдохновлена идеями МФШ. В ее основе лежат те же принципы, которые приводят, скажем, к необходимости фиксирования звонких в абсолютном исходе: в обоих случаях, с одной стороны, признается несомненное наличие соответствующих характеристик (глухости, ударности того или иного слога), с другой — эта информация считается недостаточной для фонологической (морфонологической) трактовки ввиду отсутствия оппозиции, и функциональная трактовка выводится из аналогии с ситуацией в сильной позиции. Но и здесь можно сказать (ср. [Касевич 1983b]), что оппозиция — отношение в системе; различение конечного и неконечного ударений невозможно в том случае, если эти два вида ударения не противопоставлены вообще, т. е. в системе. Если же в системе существует данная оппозиция, то в терминах членов этой оппозиции характеризуется любое проявление соответствующих признаков. Поэтому в словоформах *стол*, *рук*, *позвонок* ударение — на основе, неконечное, хотя в данных конкретных словоформах конечного ударения быть и не может.

Отличие словоформ типа *стол*, *рук*, с одной стороны, и *позвонок* — с другой, заключается в том, что в последнем случае ударение, в принципе, может перемещаться в пределах основы, хотя в первом это, естественно, исключено. «Подвижность ударения при сохранении неконечного ударения в словоформах (ср. *óзеро* — *озёра*, *дéрево* — *дерéвья* и т. п.) не рассматривается как признак акцентной кривой, отличающей ее от других акцентных кривых», — пишет В. А. Редькин [Редькин 1971: 7]. Но

¹ Впрочем, для МФШ аналогичное противоречие возникает уже в фонологии, где, скажем, в первых слогах слов *кота*, *пороть* признается безударное /o/.

перемещение ударения было бы иррелевантным только в том случае, если бы оно было однозначно предсказуемо — на основании сегментного фонологического состава слова, его морфологии. Вопрос стоит достаточно просто: необходима ли эта информация, чтобы получить правильные текстовые варианты? Например, при образовании прилагательного от слова *церковь* ударение перемещается, оставаясь в пределах основы: *церковный*. Без этой информации невозможно обойтись, описывая данный случай словообразования: изменение места ударения здесь не является предсказуемым; ср. *мелочь* — *мелочный*, где в аналогичных условиях место ударения не изменяется².

Неучет всех передвижений ударения в пределах основы /107//108/ выглядит особенно немотивированным в свете типологических данных. Установлено, что для славянских языков целесообразно выделять в качестве морфонологически релевантного «акцентуационного интервала» три последних слога основы, и выявлены закономерности, согласно которым, если в языке существует чередование конечного и неконечного ударений, где неконечное приходится на третий слог от конца основы, то представлено и перемещение на второй слог, а если имеется сдвиг на второй слог, то есть и случаи переноса ударения на первый [Stankiewicz 1966: 513–515]. Учесть эти соотношения невозможно, если мы будем игнорировать внутриосновные перемещения ударения.

Таким образом, если противопоставление конечного и неконечного ударений реально недостаточно для полного описания просодических процессов, сопровождающих морфологические, то нет причин отказываться от дальнейшего различения подтипов внутри конечного или неконечного ударений, хотя это и будет в ущерб стройности и экономности описания.

2. Выше рассматривались вопросы акцентологической морфонологии в языках с ударением наиболее распространенных типов — количественного, динамического (которые чаще всего сосуществуют в пределах одного языка). Любопытны проблемы, возникающие при изучении языков с мелодическим, или музыкальным, ударением, специфичность которого не ограничивается способом выделенности ударного слога. Обратимся в этой связи к материалу японского языка.

Более традиционное описание японского ударения заключается в следующем: на первой мере ударного слога (на ударном слоге, если он одноморен) и всех предшествующих ему мерах, кроме первой в слове, имеет место мелодическое повышение, все заударные меры произносятся с низкой мелодикой. В последнее время стала как будто бы более

² В приведенных примерах речь идет о сохранении/несохранении места ударения при словообразовании, а не словоизменении, но это, конечно, не меняет принципиальной постановки вопроса.

распространенной точка зрения, согласно которой ударность в японском языке выражается посредством понижения мелодики после первой моры ударного слога [McCawley 1978].

На первый взгляд два описания японского ударения практически эквивалентны: если имеет место мелодический перелом, то безразлично, подчеркивается ли более высокая мелодика до точки перелома или более низкая после нее. Однако нужно учитывать, что существуют слова, произносимые с высокой мелодикой вплоть до абсолютного исхода слова. Согласно первой из концепций, это объяснимо: коль скоро основное в механизме ударения — повышение мелодики по сравнению с некоторым уровнем, то слова с последним ударенным одноморным слогом и не могут иметь заударного понижения мелодики. Вторая концепция должна в этом случае признавать существование безударных слов.

Авторы, следующие этой концепции, принадлежат к генеративистскому направлению или близки к нему³. Соответственно, они признают фонологичным то, что присуще данной единице в сильной позиции (по терминологии МФШ). Например, слова *kaki* ‘ограда’ и *kaki* ‘хурма’ одинаково произносятся с высоким вторым (последним) слогом. Однако при присоединении показателя им. п. *-ga* этот последний оформляется низкой мелодикой в слове со значением ‘ограда’, но высокой — в слове со значением ‘хурма’. Поэтому признается, что в *kaki* ‘ограда’ ударен второй слог, а *kaki* ‘хурма’ — безударное слово. Аналогично и в односложных одноморных словах: *na* ‘овощ’ трактуется как слово с ударным слогом, поскольку при присоединении, например, того же *-ga* этот показатель произносится с низкой мелодикой, а *na* ‘имя’ — как безударное слово, так как присоединяемый к нему аффикс типа *-ga* оформляется высокой мелодикой, а сам слог *na* в этом случае произносится низко [McCawley 1978: 114].

Последнее кажется особенно необудительным. Обычно принимается в качестве аксиомы, что если в языке есть ударение, то изолированный слог всегда ударен, или, иначе, изолированное односложное слово всегда содержит ударный слог, материально равный ему самому. Здесь же признается существование обширного класса односложных безударных слов (полнозначных). Добавим, что само понятие безударного слова (с любым слоговым составом) едва ли приемлемо — во всяком случае, если это не слово-клитика, имеющее собственное ударение только в словаре, но не в тексте. Слово и ударение в акцентных языках связаны двусторонней взаимно однозначной связью, они находятся, если воспользоваться логическими терминами, в отношении материальной эквивалентности: есть ударение — представлено слово, есть слово — имеется ударение.

³ Сходные идеи высказывал, впрочем, еще Е. Д. Поливанов [Поливанов 1915].

Необходимо сказать, что односложное одноморное слово в японском языке, лишенное правого контекста, всегда произносится с высокой мелодикой вне зависимости от того, как акцентно оформляются потенциально возможные при нем грамматические показатели и т. п. Это опять-таки хорошо согласуется с представлением об ударности как повышении, а не понижении мелодики: если, как сказано, единственный одноморный слог, употребленный самостоятельно, всегда ударен, а ударность выражается повышением тона, то естественно, что изолированный однослог должен произноситься в высоком регистре.

Таким образом, концепция, связывающая японское ударение с повышением мелодики, лучше отвечает действительному положению вещей и утвердившимся в фонетике взглядам. Но мы не стали бы обсуждать этот вопрос, относящийся, как может показаться, к сфере «узкой» фонетики, если бы его решение не имело прямых морфонологических следствий. Категория безударных слов, как явствует из предыдущего, вводится в связи /109//110/ с приданием понижения мелодики в качестве носителя ударения, само же понятие безударных слов необходимо для различения лексических единиц типа *na* 'овощ' и *na* 'имя'. Реализованные вне правого контекста, эти слова омонимичны. Но они ведут себя с точки зрения акцентного оформления по-разному и, следовательно, противопоставлены при наличии такого контекста⁴. Поскольку это разные слова с отличающимися фонологическими закономерностями в некоторых сочетаниях, они и должны быть, по логике генеративистского типа, фонологически разными всегда. Что и достигается определением первого из них как ударного, а второго — как безударного.

Здесь налицо обычное для генеративизма (и МФШ) неразличение фонологии и морфонологии. С собственно-фонологической точки зрения слова *na* 'овощ' и *na* 'имя', *kaki* 'ограда' и *kaki* 'хурма' идентичны и своим сегментным составом и акцентными контурами. Реальное же различие между членами пар имеет морфонологическую природу. При присоединении морфемы типа показателя номинатива *-ga* в *na* 'имя' и *kaki* 'хурма' ударение сдвигается на присоединяемую морфему, а в *na* 'овощ' и *kaki* 'ограда' остается на корне. С функциональной точки зрения этот процесс полностью аналогичен перемещению ударения на окончание или же сохранению неконечного ударения в русских словах наподобие *стол* (*столу́*) и *дом* (*до́му*); более того, в русском языке также можно найти

⁴ Показательна аналогия, к которой прибегал Е. Д. Поливанов для пояснения соотношения слов этого типа: в качестве принципиально сходного русского примера он приводил слова *плод* и *плот*, которые в произношении неотличимы (и лишь искусственно могут быть противопоставлены), однако различаются в тех контекстах, где после корня следует морфема, начинающаяся на гласный, и некоторых других (Поливанов не дает характеристики контекста, ограничиваясь указанием на «морфологически родственные слова») [Поливанов 1915: 1621].

пары, которые сегментно и акцентно неразличимы в словарной форме, но противопоставлены за счет разного акцентного поведения при склонении; ср. *клуб* ‘культурно-просветительская организация’ или ‘шарообразная движущаяся масса дыма, пыли и т. п.’, но *клубы* для первого значения и *клубы́* — для второго. Соответственно и японские слова, аналогично русским, требуют особой пометы в словаре, говорящей о том, перемещается ли ударение в процессах формо- и словообразования и, если да, то каким именно образом. В сущности, о таких пометах и говорит Дж. Мак-Коли, отстаивающий, среди прочих, концепцию безударных слов в японском языке [McCawley 1978], но содержанием пометы делает именно информацию о наличии/отсутствии и типе ударности, что подменяет морфонологические аспекты фонологическими и устанавливает абсолютную внеконтекстную различимость слов там, где она реально имеет ограниченный контекстно обусловленный характер.

3. Ограниченность объема (и недостаток собственного материала) не позволяют нам дать систематическое освещение проблем тональной морфонологии, или морфотоналогии, как ее называют [Meeussen 1971; Welmers 1959]: имеются в виду регулярные чередования тонов в тональных языках, сопровождающие грамматические процессы. По этому вопросу опубликовано уже немало работ, в которых изучаются как общие, принципиальные [Anderson S. R. 1978; Schuh 1978], так и более частные аспекты морфотоналогии [Clements 1979; Clements, Ford 1979; Elimelech 1976]. Как явствует из литературы, морфотоналогические процессы особенно характерны для языков Африки (к югу от Сахары) и Америки. Мы остановимся лишь на наиболее распространенных типах морфотоналогических явлений, которые к тому же важны для общей теории морфонологии.

Подобно морфонологии, имеющей дело с сегментными фонологическими средствами, морфотоналогия занимается лишь теми тональными модификациями, при которых происходит замена тонов, а не их вариантов. В литературе достаточно традиционны представления о «тональном сандхи». Однако очень часто под тональным сандхи понимают взаимные модификации тонов в данном контексте, где тоны выступают в тех или иных вариантах [Cheng Chin-Chuan 1975]. Если мы хотим сохранить за понятием сандхи то содержание, которое оно традиционно имеет в «сегментной» морфонологии — замены фонологических единиц на морфемных стыках, то аллотония, т. е. нефонологическое контекстное варьирование тонов, не может квалифицироваться как сандхи. К сандхи в строгом смысле термина может относиться лишь чередование тонов на морфемных стыках, но если учесть, что в тональных языках морфемные стыки одновременно чаще всего являются слоговыми, то необходимость в специальном понятии и термине «тональное сандхи» становится проблематичной.

Как в сфере «сегментной» морфонологии нужно включать лишь фонемные модификации, сопровождающие грамматические процессы, но не чередования, служащие средством выражения последних, так и к морфотоналогии следует причислять только «сопроводительные» переходы тонов. Поэтому не принадлежат к морфотоналогии случаи наподобие замены тонов в бирманском языке, которая употребляется для перевода глагола в адъективную форму (см. гл. I, с. 27), тональные чередования в чинских языках, используемые для образования местоименных форм (язык тиддим [Henderson 1957]), форм наклонения (тейзанг [Henderson 1963]). Все это — внутренняя флексия, отличающаяся от традиционной лишь средством выражения — просодикой, тоном.

3.1. В морфотоналогии, как и в традиционной морфонологии, чередования тонов могут носить ассимилятивный и диссимилятивный характер. Особый и в то же время, вероятно, наиболее распространенный тип ассимиляции — это экспансия тона (*tone spreading* в англоязычной терминологии). Экспансия тона известна на материале африканских языков, входящих в группы банту, ква и др. (в частности, зулу, эве). Она заключается в /111//112/ том, что в последовательности морфем тон, в определенном отношении выступающий как «сильный», доминантный, ассимилирует либо все другие тоны, входящие в данную последовательность (словоформу, синтагму, предложение), либо все тоны справа от доминантного. Например, в эве сочетание /dà/ + /wū ā mē/ переходит в /dà wù à mē/ ‘змея убила человека’, где все тоны под влиянием начального переходят в низкие [Schuh 1978: 228].

Как можно видеть, экспансия тона по своему характеру очень близка сингармонизму, лишь проявляющемуся в просодической, тональной области. Сходство дополняется тем, что в языках с экспансией тона существуют фонологические категории, блокирующие действие ассимиляции: если в монгольских, финно-угорских языках существуют сингармонистически нейтральные гласные, после которых закон уподобления не имеет силы (см. об этом в гл. VII, с. 120–121), то в языках наподобие зулу экспансию высокого тона блокируют звонкие и неглоттализированные шумные согласные [Schuh 1978: 226]⁵.

⁵ Такое действие звонких согласных связывают с известной коррелятивностью между звонкостью согласных и низким регистром тона [Anderson L. B. 1980: 15]. Возможно, это объяснение имеет силу для нупе, одного из языков ква, где сочетание низкого тона с высоким переходит в последовательность «низкий — восходящий», если инициаль второго слова звонкая [Anderson L. B. 1980: 15]. Однако в нупе, насколько мы можем судить, в данном случае наблюдается аллотония, а не чередование тонов. Еще существеннее то, что связь регистра и звонкости/глухости обычно однозначна, т. е. при звонком согласном регистр всегда низкий и наоборот, в то время как при экспансии тона фонологические тоны, высокий и низкий, заменяют друг друга при одном и том же согласном под воздействием фонологического тонального контекста.

3.2. Как тональную экспансию квалифицируют и так называемое тональное смещение, наблюдаемое, например, в сукума, одном из языков банту, где высокий тон переносится на два слога вправо от морфем, которые по присущим им просодическим свойствам вызывают такое смещение [Gleason 1961; Schuh 1978: 234]. Однако признаки тонального смещения и экспансии тона различны. Если экспансия тона, как сказано, близка сингармонизму (его «крайнему» варианту — унивокализму), то тональное смещение вполне аналогично переносу ударения в акцентных языках: в последних также имеются морфемы, требующие ударности последующего слога (постакцентные морфемы в классификации П. Гарда, см. гл. VIII, с. 150).

Классическим примером диссимиляции тонов можно считать несочетаемость антициркумфлексных тонов (третьих по традиционной номенклатуре) в китайском языке — путунхуа; как хорошо известно, в пределах синтагмы все антициркумфлексные тоны из последовательности слогов, помеченных этим тоном, переходят в восходящие (вторые), кроме последнего, сохраняющего исходную антициркумфлексность.

3.3. Один из наиболее сложных и запутанных вопросов морфонологии — трактовка понижения или повышения тона в определенных контекстах, или *downstep* и *upstep* в традиционной англоязычной терминологии; в качестве русского эквивалента кажется возможным пользоваться музыковедческим термином «альтерация», говоря с бемольной и диэзной альтерации соответственно.

Эти явления отмечены для целого ряда африканских языков — таких, как акан, ибо, йоруба, тив, эфик, бамилеке, зулу, кикую, масаи, луо и др.; они известны также в миштекских и других языках Америки [Clements 1979: с. 537]. Более распространена и относительно лучше описана бемольная тональная альтерация, и именно о ней пойдет речь ниже.

Прежде всего, тональную альтерацию нужно отличать от тонального скольжения, которое также может быть нисходящим (*downdrift*) и восходящим (*upsweep*) и которое заключается в том, что каждый последующий тон произносится соответственно ниже или выше одноименного ему предыдущего. Например, в языке акан собственные имена /kofi/ и /kwabena/ имеют высокий тон на последних слогах, слово /hwehwe/ ‘ищет’ также завершается на слог в высоком тоне. Однако в предложении /kofi hwehwe kwabena/ ‘Кофи ищет Квабену’ слог /fi/ произносится в два раза выше, чем слог /na/, в предложении /kwabena hwehwe kofi/ ‘Кwabена ищет Кофи’ соотношение регистров прямо противоположное, а слог /hwe/ обладает в обоих предложениях промежуточным по высоте уровнем [Stewart 1971: 184]. Здесь видно ступенчатое понижение (скольжение) высокого тона к концу высказывания. Тональное скольжение относится к области аллотонии, не имея фонологических и тем более морфонологических импликаций.

Чаще всего в языках с тональной альтерацией имеется два «основных» тона, отличающихся только регистром, — высокий и низкий. К ним добавляется особый, третий, тон — пониженный высокий, употребление которого ограничено определенными условиями. Именно трактовка таких пониженных (бемольных) тонов и вызывает наибольшие затруднения.

Не имея возможности обсуждать различного рода формализмы, предложенные для описания тональной альтерации, ее возможную диахроническую связь с тональным смещением [Clements, Ford 1979; Williamson 1971], отметим лишь основные, с нашей точки зрения, положения, важные для понимания этого явления.

Целесообразно различать три наиболее распространенные, судя по литературе, ситуации, которые обычно рассматриваются как проявления тональной альтерации. Первая заключается в том, что (а) наличие/отсутствие бемольной альтерации не связано с заменой (разрушением) той морфемы, на которой реализуется понижение регистра, (б) альтерация имеет место всегда вследствие выпадения слога-морфемы, обычно с низким тоном. В качестве иллюстрации укажем на пример из языка /113//114/ акан (см. [Anderson S. R. 1978]). В слове /□bo/ ‘камень’ первый слог — префикс с низким тоном, второй — корень с высоким. При присоединении притяжательного местоимения /me/ с высоким тоном префикс выпадает, а тон корня /bo/ понижается (но не до уровня низкого тона). В этом случае сниженный регистр тона в слоге /bo/ функционально принадлежит не этому последнему, он указывает на присутствие префикса, от которого «остался один тон», да и тот фонетически не имеет ассоциированного с ним слога, а реализуется как признак тона следующего слога. Морфонологический аспект данной ситуации можно описать как наложение морфов: /¹bó/, как принято транскрибировать слоги с бемольным высоким тоном, есть амальгамированный, вариант морфемосочетания /□ + bó/ в данном контексте. В фонологической системе языка акан, следовательно, два тона, а не три — высокий и низкий. (Разумеется, это заключение справедливо только в том случае, если в языке отсутствуют примеры употребления бемольного высокого тона, не связанные с опущением слога-морфемы в низком тоне.)

Вторая ситуация характеризуется тем, что слоги-морфемы, обычно также в высоком тоне, не противопоставляются перед паузой (и, вероятно, в некоторых других контекстах), но различаются при наличии правого окружения, поскольку по-разному влияют на присоединяемые справа слоги в высоком тоне: одни понижают регистр присоединяемых слогов, другие — нет. Например, в языке кикую собственное имя /kaŋeŋi/ и существительное /keŋaŋi/ ‘крокодил’ характеризуются одинаковой последовательностью тонов: низкий — низкий — высокий, но высокий тон первого слога в слове, употребленном после собственного имени,

выступает как сниженный, бемольный, в то время как аналогичный высокий тон после слова /keŋaŋi/ 'крокодил' остается без изменений [Clements 1979: 553]. В данного рода ситуации особым фонологическим признаком обладают именно «левые» слоги, т. е. вызывающие бемольную альтерацию, а не «правые», на которых реализуется снижение регистра. Следовательно, фонологическая специфика обсуждаемого материала состоит в следующем. Во-первых, высокий тон, не вызывающий «бемолизации», и высокий тон, обладающий этим свойством, — разные тоны. Во-вторых, они обладают дефектной дистрибуцией, будучи противопоставлены лишь в некоторых контекстах. В-третьих, реализация противопоставления осуществляется не за счет собственных признаков слогов, несущих соответствующие тоны, а за счет фонетического оформления их «правых соседей». Морфонологический аспект заключается здесь в чередовании «простого» высокого тона с «бемолизирующим» высоким и в потенциальной нейтрализуемости морфем с данными тонами в отсутствие правого окружения.

Наконец, третью ситуацию мы находим там, где противопоставлены непосредственно слоги-морфемы как обладающие/не^{/114/115/}обладающие бемольным высоким тоном. Например, в языке тив существительные /kwa/ 'хижины' и /kwa/ 'лист', оба, как считается, с высоким тоном, различаются в контексте типа /i lu... ga/ 'это было (-и) не...', где все тоны — высокие, но /kwa/ 'лист' произносится со сниженным регистром (вызывая, в силу тонального скольжения, понижение /ga/), а /kwa/ 'хижины' — с высоким. В то же время в контексте наподобие /i lu.../ 'это был (-и)...', где /lu/ произносится в низком регистре, противопоставленности нет [Clements 1979: 539].

Здесь также, с нашей точки зрения, следует говорить о трех фонологических тонах, но третий тон принадлежит слогам-морфемам типа /kwa/ 'лист'. Это — средний тон, который обладает дефектной дистрибуцией, вступая в оппозицию с высоким тоном или же низким только в контексте предыдущего высокого. Морфонологический аспект этой ситуации — в чередовании высокого тона со средним и в возможности нейтрализации морфем, что мы и видели на примере /kwa/ 'хижины' или 'лист'.

Глава VII
МОРФОНОЛОГИЯ МОРФЕМЫ, СЛОВА, ПРЕДЛОЖЕНИЯ

МОРФОНОЛОГИЯ И ЦЕЛЬНОСТЬ СЛОВА

1. Просодическая морфонология, послужившая объектом изучения в гл. VI, обычно описывается как часть морфонологии, выделяющаяся только природой используемых фонологических средств — ударения и тона, т. е. супrasegmentных явлений, а не фонем. Это в целом справедливо по отношению к моносиллабическим языкам: варьирование и сегментных средств и тонов ассоциировано в них с морфемой, вернее, слогоморфемой. Однако переход к изучению просодической (акцентной) морфонологии языков типа русского связан с изменением не только области фонологической, но также и морфологической: об ударении в таких языках невозможно говорить, не обращаясь к понятию слова, в то время как главная арена проявления альтернатив и т. п. — это морфема. Поэтому акцентологическая морфонология — всегда морфонология слова в первую очередь.

По-видимому, было бы целесообразно разграничивать морфонологические процессы по признаку того, с какими значащими единицами они преимущественно соотносятся, различая соответственно морфонологию морфемы, слова и синтаксическую морфонологию (синтагмы и предложения)¹. /115//116/

Соотнесенность морфонологии не только с морфемой, но и словом давно осознавалась в языкознании. Уже в «Проекте унифицированной фонологической терминологии» читаем, что морфонология — это «часть фонологии слова, рассматривающая фонологическую структуру морфем» [Projet... 1931: 321]. В «Основах построения научной описательной грамматики русского языка» о морфонологии говорится как о лингвистической дисциплине, изучающей те средства «координации грамматики и фонологии, которыми выражается и определяется единство слова» [Основы... 1966: 7]. Однако, как можно видеть и по приведенным цитатам, не разграничивались разные аспекты — морфонология морфемы, слова, предложения, хотя именно это позволяет более четко соотнести

¹ Учитывая противоречивый характер сочетания «синтаксическая морфонология», где «морфо-» в определяемом восходит к «морфология», было бы желательно ввести для соответствующей языковой сферы и лингвистической дисциплины особый термин — скажем, «синфонология» («син-» < «синтаксис»). Ввиду отсутствия каких-либо традиций мы будем, однако, пользоваться составным термином «синтаксическая морфонология», сознавая его недостатки.

типы фонологических средств и грамматических единиц, применительно к которым обнаруживаются те или иные фонологические закономерности.

Как уже говорилось, для морфонологии морфемы типична связь сегментных фонологических единиц и морфемы: именно при сочетаниях морфем происходят чередования, элизии и т. п. гласных и согласных. В то же время в тональных языках сочетание слогоморфем может вызывать чередование тонов, т. е. просодическое изменение².

Морфонология слова связана в большинстве языков, очевидно, с закономерностями ударения, т. е. это в первую голову просодическая морфонология. Однако в разных языках существуют и закономерности, относящиеся к сегментному оформлению слова (ср. данные Л. Г. Зубковой о распределении фонем разной степени звучности в пределах простого слова [Зубкова 1977]).

В санскритологии различают внешнее и внутреннее сандхи. Если первое — правила изменения согласных и гласных на морфемных швах внутри слов, то второе — аналогичные правила для сочетаний слов. Таким образом, и здесь мы видим разграничение внутри сегментной морфонологии по соотношенности правил со словом или синтагмой.

Следовательно, хотя в целом закономерности, связанные с функционированием сегментных единиц, тяготеют к ассоциированности с морфемами, а просодические изменения чаще связаны со словами, распределение фонологических средств — сегментных и просодических — по отношению к грамматическим единицам не связано жестко с типом этих единиц.

Более того, занимаясь фонологическим варьированием морфем, мы сплошь и рядом должны обращаться к информации, относящейся к слову, интегрантами которого выступают интере-/116//117/сующие нас морфемы. Релевантность характеристик слова проявляется уже в том, что обычно мы разграничиваем морфонологию слово- и формообразования, морфонологию глаголов и существительных, тем самым тип варьирования морфем оказывается в той или иной степени зависимым от признаков слова, в состав которого они входят.

В то же время, изучая проблемы акцентной морфонологии, процессы которой «разыгрываются» в рамках целостного слова, мы, как правило, обязаны учитывать не только фонологические и морфологические характеристики слова (число слогов, часть речи и под.), но также тип или даже индивидуальные свойства морфем в его составе, поскольку одни морфемы могут притягивать ударение, другие — «отталкивать» его и т. п.

² Нужно заметить, что чередование тонов — это обычно следствие комбинирования именно слогоморфем в рамках синтагмы, а не слов. Об этом говорит, например, материал китайского языка, где замена третьего тона на второй перед другим третьим имеет место при вхождении слогоморфем в ту же синтагму, вне зависимости от того, принадлежат ли слогоморфемы одному и тому же слову [Cheng Chin-Chuan 1975].

Иначе говоря, разграничивая морфонологию морфемы и слова, мы можем говорить лишь о преимущественной ассоциированности морфонологических явлений с морфемой или словом, учитывая при этом, что, как правило, морфонология морфемы не является независимой от слова, а морфонология слова — от морфемы.

Такова ситуация по крайней мере в языках, где слово как основной член словаря играет в системе роль центральной единицы. Говоря о слове, традиционно различают аспекты, связанные с отдельностью, или цельностью, слова, с одной стороны, и тождеством слова — с другой. Необходимо, однако, учитывать и другие аспекты, не сводимые к названным.

2. Мы уже говорили о том, что в изолирующих моносиллабических языках единица типа слова занимает в системе периферийные позиции. В таких языках представлены прежде всего комбинации слогоморфем различной степени связности. Из этого следует, что неэлементарные (полиморфемные) единицы, используемые в моносиллабических языках, отличаются меньшей цельностью, нежели традиционное слово. Но одновременно это означает, что наиболее распространенные значимые единицы моносиллабических языков, не являющиеся слогоморфемами, ближе к словосочетаниям, чем к словам, и как таковые не должны входить в словарь³. Эти единицы, иначе говоря, характеризуются как конструктивные, а не инвентарные: последние являются членами словаря, конструктивные же формируются (конструируются) из инвентарных по определенным правилам, как, например, предложения из слов⁴.

Если отсутствие цельности ведет к конструктивной природе языковой единицы, то сама по себе конструктивная природа еще не говорит об отсутствии цельности: например, регулярно образуемые дериваты наподобие русских деминутивов с суф- /117//118/фиксом *-ик* обычно не входят в словарь, хотя их цельность не вызывает сомнений, — они являются, по-видимому, конструктивными единицами. Конструктивными единицами выступают, надо полагать, и инкорпорированные комплексы палеоазиатских или индейских языков, хотя с точки зрения грамматики есть основания считать их словами.

Для нас сейчас важно, что слова славянских и близких им языков являются, как правило, и цельными и инвентарными единицами одновременно. Результатом выступает то существеннейшее обстоятельство, что слово в языках наподобие русского изменяется как целое при всей бесспорности наличия у него внутренней структуры.

³ Точнее, если они и входят в словарь, то в силу своей идиоматичности, а не грамматической цельности (как, например, фразеологизмы).

⁴ Ранее мы говорили о различии между парадигматическими и синтагматическими единицами [Касевич 1983b: 102–103], где под первыми понимались инвентарные, а под вторыми — конструктивные.

Собственно говоря, уже признание слова единицей отдельного уровня предполагает, что ему присуща цельность. Инвентарный, словарный характер слова также придает ему свойства монолитного объекта, используемого «в готовом виде».

Дж. Байби и М. Брюэр задают вопрос: «...Какова природа этих (соотносящих словоформы. — В. К.) правил и предполагают ли они выделение основы и ее вхождение в систему на правах самостоятельной единицы (*storage of the stem as a separate unit*)? Возможен, конечно, и такой анализ, но другой способ анализа исходит из понятия автономного слова. В его рамках автономная исходная форма может быть преобразована не просто аффиксацией, а заменой признаков или сегментов. Так, [исп.] *metiό* служит базой для *metié* в том смысле, что *metié* можно произвести из *metiό* заменой признака конечной гласной, вовсе не прибегая к вычленению основы как самостоятельной единицы» [Bybee, Brewer 1980: 239].

Ценным нам представляется здесь именно предположение о том, что слово изменяется как целое. Однако вряд ли это следует трактовать столь прямолинейно, как цитированные авторы (которые, впрочем, делают оговорки относительно сугубой предварительности своих соображений). Индоевропейское слово, действительно, точка пересечения всех релевантных грамматических категорий соответствующих языков, оно выступает как основная единица словаря, а в тексте характеризуется высокой степенью цельности. Как цельная единица особого уровня слово должно обладать собственным набором дифференциальных признаков, куда входят и содержательные признаки (план содержания слова), и формальные (план выражения). Когда слово изменяется, заменяется часть его признаков, как содержательных, так и формальных. Но формальные признаки слова — это не сама по себе фонемная структура его экспонента. План выражения слова формируется его грамматической структурой плюс некоторые собственные фонологические признаки — «просодии слова», если воспользоваться за неимением другого термином Лондонской школы просодического анализа. К собственным фонологическим признакам слова относится его акцентный */118//119/* контур, а также ряд других фонологических характеристик [Касевич 1983b: 218–220], которые, выступая пометами слова, функционируют морфонологически.

Что же выступает в качестве формально-грамматических признаков слова? По крайней мере в славянских, а, возможно, и вообще в индоевропейских языках грамматическая структура слова, обуславливающая его специфику в плане выражения, — это наличие в его составе основы и окончания (форматива) данного вида; по отношению к слову основа и окончание играют роль своего рода непосредственно составляющих.

Таким образом, изменение окончания и/или основы слова — это процесс изменения структуры слова, его характеристик в плане выражения

как целостной единицы, а не просто замена некоторых отдельных, самостоятельных элементов, тем более — фонем или их признаков. При этом, коль скоро речь идет о варьировании слова как такового, не носит принципиального характера вопрос о точном местоположении границы между основой и окончанием, эта граница может быть в известной степени лабильной, что и показывают диахронические данные по морфологическому переразложению, опрощению и т. п.⁵. Определенную иррелевантность морфологических границ мы видели выше на примере ситуаций, которые интерпретируются как наложение морфов (см. гл. IV).

Положение о монолитности слова как инвентарной и цельной единицы, что отчасти поддерживается морфонологией, весьма существенно с типологической точки зрения: этот феномен имеет место во флективных и, возможно, аналитических языках. Что же касается агглютинативных языков — во всяком случае, таких, как тюркские, монгольские, финно-угорские, то здесь положение радикально отличается (см. с. 131–134).

СИНГАРМОНИЗМ

3. Комплекс явлений, относимых к сфере сингармонизма, многократно и подробно освещался в литературе на материале разных языков — тюркских, монгольских, финно-угорских, тунгусо-маньчжурских, а также некоторых африканских, индейских, палеоазиатских и австронезийских. Нас будут интересовать лишь те аспекты сингармонизма, которые целесообразно интерпретировать как морфонологические по своей природе.

Непосредственная связь сингармонизма с морфонологией очевидна. Можно даже сказать, что явление сингармонизма одновременно относится к трем разделам морфонологии. Во-первых, законы сингармонизма определяют фонологический об- /119//120/ лик морфем, диктуя, какие фонемы могут сочетаться в пределах морфемы, а какие — нет. Во-вторых, фонемы аффиксов в сингармонистических языках варьируют в зависимости от фонологических характеристик корня, «при котором» они находятся. В-третьих, законы сингармонизма определяют фонологический облик слова (словоформы) в целом. Третий пункт из указанных выше, по существу, выступает как производный от двух первых. Более того, все три пункта отображают проявление одних и тех же закономерностей «на материале» разных языковых единиц. Тем не менее проникновение сингармонизма во

⁵ Это, впрочем, не избавляет нас от необходимости устанавливать морфемные границы, когда мы занимаемся уровнем морфем и собственно-морфемным строением слов — точнее, основ, а согласно некоторым авторам в части случаев и окончаний-формативов.

все те сферы, которые в других языках характеризуются разными морфонологическими средствами, заслуживает упоминания.

Приведенные выше основные проявления сингармонизма еще никак не показывают его специфичность: в любом языке есть ограничения на сочетаемость фонем в пределах морфемы, во многих языках, не относящихся к сингармонистическим, аффиксальные морфемы фонологически поливариантны в зависимости от типа комбинаторики, типы фонологической структуры словоформы тоже не обязательно связаны с законами сингармонизма. Наиболее простое описание «сингармонистической ситуации» заключается в том, что в языке выделяются классы фонем, прежде всего гласных, которые способны сочетаться в пределах морфемы и словоформы. Например, в бурятском языке с этой точки зрения выделяются три класса гласных: 1) /a, a:, æ, o, o:, œ:, u, u:, ui/; 2) /ε, ε:, ö, ö:, y, y:, yi/; 3) /i, i:/. Гласные первого и второго класса не сочетаются друг с другом в пределах морфемы или словоформы, в экспонент каждой данной морфемы или словоформы могут входить лишь члены одного и того же класса гласных. Гласные третьего класса квалифицируются как нейтральные, они сочетаются в пределах экспонента словоформы с гласными как первого, так и второго класса. Иначе можно сказать, что гласные /i, i:/, принадлежат обоим классам одновременно, выступая в этом случае как область пересечения множеств, соответствующих первому и второму классам.

Коль скоро типичная словоформа в агглютинативном языке (а сингармонистические языки, как правило, агглютинативны) — это цепочка, состоящая из корня и одного или нескольких аффиксов, то правила сочетаемости/несочетаемости фонем вызывают варьирование аффиксов: каждый содержащий гласный аффикс приобретает столько фонологических вариантов, сколько существует возможных попарных соотношений между гласным корня (или предшествующего аффикса) и другими гласными, принадлежащими к соответствующему классу. Число вариантов может увеличиваться за счет одновременного варьирования согласных и уменьшаться в силу ограничений разного рода — вплоть до неварьированности аффикса в виде исключения (ср. монгольский показатель мн. ч. *-нар*, представленный единственным вариантом). [/120//121/](#)

Наиболее известна и распространена гармония гласных по ряду (лингвальная, палатальная), второе место по распространенности занимает гармония по огубленности (губная, лабиальная). Оба вида гармонии, которые могут сосуществовать в одном языке, иногда объединяют под названием «горизонтальной» гармонии в противоположность «вертикальной» — по подъему гласных [Jacobson 1952]. В последнее время высказывался целый ряд предположений относительно природы признаков, по которым происходит согласование гласных при «вертикальной» гармонии: то ли это зависимость качества гласного от

наличия/отсутствия оттянутости корня языка (\pm advanced tongue-root), то ли фонационные различия, включая противопоставление напряженных/ненапряженных гласных [Hall, Hall 1980; Henderson 1983; Jakobson 1979]. Простой пример можно привести из языка вагала (группа гур), где, судя по описанию, в основе выделения сингармонистических классов гласных лежит именно подъем, а не более «экзотические» признаки: в языке вагала в пределах фонетического слова сочетаются либо гласные /i, e, ɛ , o, u/, либо гласные /ɪ, ɛ, a, ɔ , u/ [Bendor-Samuel 1971: 154].

4. Правила согласования фонем в словоформе могут усложняться за счет ряда факторов, из которых укажем лишь некоторые. Как уже упоминалось на примере бурятского языка, при сингармонизме возможны нейтральные гласные, которые могут сочетаться с гласными любого класса. Нейтральный гласный тем самым блокирует действие сингармонизма: его вхождение в экспонент словоформы снимает ограничения на согласование гласных, эти ограничения начинают действовать «заново» в зависимости от характера гласного слога, следующего за слогом с нейтральным гласным.

С фонетической точки зрения нейтральные гласные тяготеют к «крайним точкам» системы вокализма; чаще всего это /i/, как в монгольских языках, в финно-угорских — /i/ и /e/, а в языке акай с «вертикальной» гармонией гласных — /a/. Нейтральность таких гласных, впрочем, не абсолютна. Если корень включает только нейтральные гласные /i, e/, то аффиксы, за некоторыми исключениями, имеют переднерядную огласовку.

Другой источник усложнения закономерностей сингармонизма — наличие особых правил, обуславливающих взаимоупотребимость гласных более мелких классов. Так, в бурятском языке сочетаются в пределах словоформы огубленные и неогубленные гласные, принадлежащие к одному и тому же сингармонистическому классу, но только не в смежных слогах, если речь идет о первом из двух основных сингармонистических классов: в соседних слогах невозможны /o, o:, $\text{œ}:/$ после /a, a:, $\text{æ}:/$ и наоборот. Если же после слога с огубленным гласным следует слог с /u:/, то далее использование неогубленных допустимо, например, /oršu:lxa/ ‘переводить’. В то же время после неогубленных данного класса огубленные не могут следовать вообще, в том /121//122/ числе и при «промежуточном» /u:/. Для второго сингармонистического класса этих усложняющих правил нет [Бураев 1983]. При наличии правил такого рода (в монгольских, тунгусо-маньчжурских языках) законы сингармонизма предстают не как требование согласования всех гласных словоформы по данному признаку (признакам), а как установление зависимости огласовки каждого последующего слога от вокализма слога предыдущего, что получило название «ступенчатого сингармонизма» ([Цинциус 1949], см. также [Бураев 1983]).

Правила сингармонизма обычно устанавливаются как действие прогрессивной ассимиляции, где ассимилирующий элемент всегда предшествует ассимилируемому. Это естественно связано с суффигирующим характером языков, для которых прежде всего свойствен сингармонизм и которые иногда объединяют в общий класс «урало-алтайских». Однако в ряде языков, главным образом африканских и индейских, обнаружены типы сингармонизма, где ассимилируемые элементы могут находиться как справа, так и слева от ассимилирующего. Различают два подтипа этой более сложной — в некоторых отношениях — разновидности сингармонизма. В языках, где отмечен первый подтип (ибо, акан), ассимилирующим выступает гласный корня, а ассимилируемыми — гласные суффиксов и префиксов (в этих языках, в отличие от «урало-алтайских», употребимы не только суффиксы, но и префиксы). В языках второго подтипа, представленного дьола (Diola Fogy), одним из западноатлантических языков, языками календжин (Kalenjin), гласные делятся на два класса, которые обозначают как доминантный и рецессивный. Доминантные гласные всегда выступают как ассимилирующие, а рецессивные — как ассимилируемые, вне зависимости от того, в экспонентах корней или аффиксов они встречаются [Anderson S. R. 1980].

Правила сингармонизма могут носить частичный характер. Например, в турецком языке эти правила универсальны для признака ряда, но не универсальны для признака огубленности; они формулируются следующим образом: 1) гласные в составе слова должны принадлежать либо к переднему, либо к заднему ряду, 2) закрытые гласные должны согласовываться с гласными предшествующего слога по признаку огубленности, открытый гласный в неначальном слоге не может быть огубленным [Crothers, Shibatani 1980: 64]. Как можно видеть, не универсальность губной гармонии усложняет правила сингармонизма.

Наконец, несомненно нарушают последовательность проявления сингармонизма исключения, в разной степени представленные в разных языках и часто, хотя отнюдь не всегда, относящиеся к заимствованиям. Так, в финском языке в заимствованиях в качестве нейтральных гласных могут выступать не только *i* и *e*, но и их огубленные аналоги *y* и *ö*, ср. *martyuri* ‘мученик’ — *martyureja* (партитивный падеж) — *martyurius* ‘мученичество’, где огласовка аффиксов определяется первым гласным корня, а наличие *y*: «игнорируется». В турецком языке существуют, с одной стороны, корни с нарушенным сингармонизмом, а с другой — аффиксы, которые иногда или всегда выступают как неассимилируемые, т. е. одновариантные, хотя в то же время они не нейтральны по отношению к сингармонизму, поскольку являются ассимилирующими. Например, в словоформе *binadakiler* ‘те, кто в здании’ корень *bina* ‘здание’ содержит гласные, рассогласованные по ряду. Локативный показатель *-da*

согласуется по ряду с последним гласным корня. Следующий за ним суффикс *-ki* обычно не изменяется, но к нему самому «подстраивается» аффикс множественного числа *-lar*, здесь выступающий соответственно в варианте *-ler* [Anderson S. R. 1980: 30].

Часть особенностей сингармонизма, освещенных выше, лишает сингармонистические процессы автоматичности: в целом этот тип фонологических (морфонологических) правил характеризуется именно автоматичностью, но когда применимость правила зависит от индивидуальности корня или аффикса, правило перестает быть автоматическим.

5. В имеющейся литературе, прежде всего генеративистского и близких к нему направлений, активно обсуждается вопрос о том, какой системой правил следует описывать сингармонизм. В согласии с обычным генеративистским подходом соответствующие авторы ищут наиболее экономный способ порождать из словарных единиц текстовые. Конкурирующими признаются следующие основные варианты решения проблемы. Согласно одному из них, в словарной записи корня гласные выступают как полностью охарактеризованные по всем дифференциальным признакам, гласные же аффиксов — только по части признаков, а именно отмечаются лишь те признаки, которые невыводимы из закономерностей сингармонизма в данном языке плюс знания вокализма корня. Согласно другому, гласные корня — либо все, либо те, которые принадлежат к ассимилируемым слогам, — также записываются лишь с частью признаков, остальные же «восстанавливаются» действием правил сингармонизма. Наконец, еще один вариант решения, впервые предложенный представителями Лондонской школы просодического анализа (см., например, [Lyons 1973], к нему близка и концепция А. А. Реформатского [Реформатский 1966]), устанавливает сингармонистический класс словоформы в целом: все признаки, которые предсказываются сингармонистическим типом слова, «изымаются» из характеристик гласных и считаются принадлежностью словоформы в целом в качестве его «просодий». Например, турецк. *evler* 'дома' записывается как /FNavlar/, где F символизирует передний ряд, а N — неогубленность, как «просодии», принадлежащие словоформе в целом. Преимущественно формально отличается от этого варианта подход так называемой аутоsegmentной фонологии, сущность которого состоит в постулировании двух само-/123//124/стоятельных, независимых цепочек — segmentных и просодических признаков, между которыми особыми правилами устанавливается то или иное соотношение; признаки, по которым происходит согласование гласных, аутоsegmentная фонология трактует как просодические [Clements 1977; Vago 1979].

Как мы уже говорили в гл. II, нет никаких оснований полагать, что в словаре — прежде всего в словаре реального носителя языка — морфемы

«записаны» с неидентифицированными или неполностью идентифицированными гласными. В словарь входит основной вариант морфемы (или их определенным образом упорядоченный набор), а правила устанавливают, как изменяются морфемы в морфемосочетаниях — словоформах. Существо действия таких правил — не «дописывание» признаков, а, скорее, их «переписывание», т. е. замена, точнее, замена фонем в целом.

Неполная идентифицированность гласных может относиться единственно к аспекту речевосприятия, когда в целях экономии усилий, разгрузки внимания и повышения быстродействия процессов восприятия носитель языка сплошь и рядом не анализирует специально те признаки, которые однозначно предсказываются контекстом (если, конечно, признаки этого последнего в силу тех или иных причин «обрабатывать» легче). К такого рода признакам несомненно принадлежат и признаки гласных, определяемые закономерностями сингармонизма. К обсуждению этого аспекта проблемы мы вернемся ниже.

6. В работах генеративистов изучаются вопросы, связанные с действием, так сказать, сингармонистического механизма: как действуют, «работают» правила сингармонизма? В тени остается, быть может, самый важный вопрос: вопрос о функциях сингармонизма как особого явления. Данная грань проблемы обладает и ярко выраженной типологической окраской, поскольку, только понимая, «зачем» существует сингармонизм, мы сможем объяснить, почему в одних языках это явление присутствует, а в других — нет.

По крайней мере в отечественной литературе стало уже традиционным цитировать Бодуэна де Куртенэ, который уподобил сингармонизм ударению, отождествив их функции: сингармонизм, по Бодуэну, служит «цементом, соединяющим или связывающим слоги в слова. В арио-европейских языках эту роль соединения слогов в слова играет прежде всего ударение» [Бодуэн де Куртенэ 1876: 312].

Известны и возражения против слишком тесного сближения сингармонизма с ударением. Ряд доводов против этого положения выдвигал Т. А. Бертагаев. Основными из них можно считать два. Первый заключается в том, что ударение «органически связано со структурой слова», «изменение ударения или его исчезновение нарушает всю структуру слова, и слово, как тако-^{/124//125/}вое, перестает существовать» [Бертагаев 1969: 80] — нарушение же сингармонизма не ведет к разрушению слова.

С этим утверждением нельзя безоговорочно согласиться. Действительно, в акцентных языках слова вне ударения не существует, а его перемещение — в языках со свободным ударением — заменяет или разрушает слово (словоформу). Но что можно понимать под «исчезновением» ударения? С синхронической точки зрения такое

исчезновение может наблюдаться лишь на материале слов-клитик, которые, присоединяясь к знаменательному слову, теряют собственное ударение (они обладают ударением лишь в качестве словарных единиц, но не единиц текста). С диахронической точки зрения исчезновение ударения — это переход языка в класс анакцентных, но, конечно, не диахронический аспект здесь имеется в виду.

В сингармонистических языках аналогом синхронического исчезновения ударения выступают именно фонологические (морфофонологические) процессы, сопровождающие построение словоформ: аффиксы «теряют» собственный вокализм, иногда и консонантизм, присоединяясь к корню. Это явление занимает в сингармонистическом языке, безусловно, несравненно более важное место, чем утрата ударения клитиками в языках наподобие русского. Но сам принцип, лежащий в основе двух процессов, можно считать близким по содержанию. Замена сингармонистической модели (типа) слова ведет к замене или разрушению последнего — так же, как и перемещение ударения.

Что же касается нарушения сингармонизма как в корнях, так и в аффиксах, то нужно согласиться: если в языках типа русского слово (словоформа) не может существовать без ударения, то отсутствие сингармонического согласования не делает существование слова невозможным. Однако в связи с этим следует заметить, что очень часто нарушение сингармонизма выступает как проявление определенных диахронических тенденций; нельзя считать случайным, что практически полное разрушение системы сингармонизма в литературном узбекском языке привело к развитию в нем функции ударения [Mahmudov 1982]. Возможно, правильнее было бы говорить не о развитии функций ударения, а о его появлении. Тогда в истории узбекского языка сингармонизм и ударение обнаружили бы в полном соответствии с концепцией Бодуэна комплементарное отношение.

Другим аргументом против функционального сближения сингармонизма с ударением служит утверждение о нетипичности для сингармонизма делимитативной функции — прежде всего оттого, что в речевой цепи слова, принадлежащие разным сингармонистическим типам, вовсе не обязательно чередуются — напротив, «в большинстве случаев оказываются смежными, в соседстве друг с другом слова одного ряда» [Бертагаев 1969: 85]. Относительно «большинства случаев» невозможно, конечно, что-либо утверждать, не имея статистических данных. Но и /125//126/ априори можно предположить, что если в языке есть две сингармонистические модели, то число пар соседствующих слов с разными и одинаковыми признаками с точки зрения сингармонизма будет примерно одинаковым, т. е. вероятность адекватной сегментации на основании показаний сингармонизма будет приближаться к 1/2.

Необходимо, однако, иметь в виду, что и ударение далеко не всегда обеспечивает реализацию делимитативной функции. Ударение, притом единственное, присуще каждому слову акцентного языка. Поэтому число ударений — это одновременно число слов. Но, зная число слов, мы еще не обязательно знаем границы между ними: при одном и том же числе слов и слогов последние могут по-разному распределяться между словами, в результате чего будет изменяться сегментация на слова, т. е. делимитация. Однозначность сегментации обеспечивается только фиксированным ударением, разноместное же дает лишь вероятностное разбиение текста на слова.

Соответственно тот факт, что смена сингармонистических моделей в речевой цепи не есть однозначный показатель сегментации на слова, еще не свидетельствует безоговорочно против функциональной общности сингармонизма и ударения: как мы видели, ударение тоже отнюдь не во всяком языке обеспечивает словоделение. Правда, сингармонические закономерности могут не давать информации даже о числе слов, когда друг за другом следуют слова, особенно более или менее малосложные, принадлежащие одному и тому же сингармонистическому классу.

7. Можно обнаружить, таким образом, как схождения, так и расхождения между проявлениями сингармонизма и ударения, но схождений все же, пожалуй, больше.

Дело, однако, не в том, «похожи» ли сингармонизм и ударение. По мысли Бодуэна, и сингармонизм и ударение служат для «соединения слогов в слова» — именно это обстоятельство представлялось для него главным. Иначе говоря, Бодуэн рассматривал сингармонизм прежде всего в плане речепроизводства, ибо «связывание слогов в слова» осуществляется, надо полагать, в процессе порождения речи.

Благодаря чему же слоги объединены в слове, если иметь в виду процесс речепроизводства? Фонетическое единство слова при порождении речи обеспечивается интонационными средствами, включая паузацию, а также межслоговой коартикуляцией. По существу, ни ударение, ни сингармонизм (там, где они есть) не играют в этом решающей роли. Мысль о том, что слоги «сплавиваются» в слово за счет их группировки вокруг ударного слога или же за счет гармонии гласных, провоцируется представлениями, которые на сегодняшний день можно считать устаревшими, даже наивными и которые заключаются в понимании речепроизводства как процесса «сборки» круп-^{/126//127/}ных единиц, в данном случае слов, из мелких — слогов. Направление процесса порождения речи — прямо противоположное: от высших единиц к низшим; человек сначала программирует общую схему высказывания, последовательно-ступенчато наполняя ее категориальным содержанием, вплоть до конкретизации фонетических характеристик. Ни на каком этапе не имеет места акт компиляции слов из слогов.

И все же консолидирующая, или организующая, функция — т. е. функция объединения одних единиц в рамках других — выполняется и ударением и сингармонизмом. Но нужно, во-первых, уточнить, какие именно единицы-интегранты должны иметься в виду, и, во-вторых, выяснить аспект рассмотрения — порождение или восприятие речи.

Что касается слогов, входящих в экспонент слова, то важнее с интересующей нас точки зрения не столько ударение, сколько безударность: безударность слога означает, что он принадлежит к фонетическому слову, акцентное ядро которого расположено слева или справа от безударного слога (необязательно, конечно, в непосредственной близости от него). Иначе говоря, безударность означает несамостоятельность, принадлежность некоторой единице, и, пожалуй, именно в этом смысле ударение выполняет консолидирующую функцию по отношению к слогам. Нетрудно видеть, что в этом случае консолидирующая функция перемещается в сферу восприятия речи.

Положение с сингармонизмом иное. Морфемы, объединенные в слове, не обладают собственным ударением, но агглютинативные аффиксы имеют собственный, вокализм и консонантизм, т. е. представлены в словаре основными вариантами с данным набором гласных и согласных. Входя в слово, аффиксы обычно изменяют свой вокализм, иногда и консонантизм, под влиянием фонологии корня. Придание слову определенного фонологического облика за счет согласования фонологических признаков его морфем-интегрантов можно считать реализацией консолидирующей функции, причем именно в плане речепроизводства.

Таким образом, тезис об ударении и сингармонизме как о «цементе», склеивающем слоги в слово, справедлив преимущественно в применении к сингармонизму, но с существенными оговорками: во-первых, речь должна идти не о слогах, а о морфемах; во-вторых, не существует самого процесса «склеивания» — имеет место процедура заполнения абстрактных схем словоформ, входящих в предложение, конкретными морфемами, при которой морфемы должны согласовывать определенным образом свои фонологические характеристики; в-третьих, это чисто фонологическая, а не фонетическая консолидация.

В гл. V мы говорили о том, что в морфонологии можно обнаружить аналоги грамматических операций примыкания и управления. Теперь мы видим, что существует и морфоно-^{/127//128/}гическое согласование, также в известных отношениях аналогичное согласованию в грамматике, в синтаксисе. В грамматике согласование — это воспроизведение в зависимом слове морфологических категорий главного, управляющего. В морфонологии согласование — это воспроизведение зависимыми морфемами определенных фонологических признаков «главной»

морфемы. Основным проявлением морфонологического согласования и выступает сингармонизм.

Другое проявление морфонологического согласования — умлаут германского типа. Поскольку и сингармонизм и умлаут можно, с некоторыми оговорками, рассматривать как ассимиляцию, то умлаут — это антиципирующая ассимиляция, ибо при умлауте вокализм корня предвосхищает вокализм суффикса или окончания, а сингармонизм в его классическом варианте — это персеверирующая ассимиляция, так как здесь происходит воспроизведение, итерирование признаков.

Вместе с тем сингармонизм отличается и от умлаута и от всех других типов ассимиляции. Прежде всего механизм сингармонического согласования зиждется, как уже отмечалось, на автоматических чередованиях, в то время как умлаут неавтоматичен. Автоматичность же связана с выравниванием межморфемных фонологических соотношений по образцу внутри-морфемных (гл. I, с. 18). Именно это объясняет, что сингармонизм характеризует не только фонологическую связь гласных аффиксов и корня, но и соотношение гласных внутри корня (основы). А из этого как раз и следует, в свою очередь, что сингармонизм распространяется на слово в целом, в то время как любая ассимиляция затрагивает лишь ту или иную позицию.

Сущность всякого согласования заключается в повышении избыточности текста. Согласование морфонологическое — как и морфонологические явления вообще — также служит повышению избыточности. И здесь мы приходим к перцептивному аспекту функциональной нагрузки сингармонизма, поскольку понятие избыточности текста в принципе связано с восприятием речи.

Действительно, когда в языке существуют достаточно обширные классы словоформ, фонологически регулярно характеризующиеся некоторым «сквозным» признаком наподобие переднерядности или заднерядности (в предельном случае — тождественными гласными на протяжении словоформы, т. е. унивокализмом), то воспринимающий речь носитель языка по первому, или же какому-либо иному, слогу определяет соответствующий признак и «приписывает» его словоформе в целом. Тем самым слушающий фактически игнорирует фонетическую информацию, например, о ряде применительно ко всем остальным гласным, автоматически добавляя нужный фонологический признак в качестве единственно возможного. Как можно заметить, данное описание очень близко к просодической трактовке [/128//129/](#) сингармонизма в духе Лондонской школы, с тем, однако, важным уточнением, что «дописывание» признаков, предсказываемых на основании закономерностей сингармонизма, ограничивается сферой речевосприятия.

Ясно, что наличие слов с нарушенным сингармонизмом, равно как и более сложных правил согласования гласных, вносит затруднения в

использовании процедур, принцип которых описан выше. Нарушение сингармонизма (особенно в заимствованиях) и усложненные правила типа ступенчатого сингармонизма имеют, впрочем, разный эффект на восприятие. Слова с нарушенным сингармонизмом просто не распознаются с помощью тех же процедур, что и регулярно оформляющиеся словоформы: если единица реально не обладает одним из существующих в языке сингармонистических типов, то она воспринимается более или менее поэлементно. Что же касается усложненных правил согласования гласных, то они прежде всего обладают закономерным и регулярным характером. А это означает, что в языке существует конечный набор воспроизводимых сингармонистических моделей, своего рода сингармонистических контуров слов, как существует аналогичный набор акцентных контуров (который, кстати, может быть достаточно обширным, ср. [Моисеев 1976а; 1976б]). Следовательно, и в языке, где отнюдь не всякая словоформа обладает «сквозным» фонологическим признаком, тип сингармонистического контура может восприниматься в отвлечении от слова, служа «квазипросодической» пометой последнего.

Возможны и конфликтные столкновения между разными правилами сингармонизма. Выше уже отмечалось, что в финском языке в заимствованиях в качестве нейтральных гласных могут выступать не только *i*, *e*, но также *y*, *ö*. Когда в словоформе *ambassadöörina* ‘как посол’ гласный аффикса согласуется с *a*, а не с *öö*, это требует особой трактовки. Л. Андерсон предлагает для таких случаев своего рода алгоритм для «вычисления» того, какой из конфликтующих факторов окажется главенствующим. Применительно к материалу финского языка предлагается учитывать два фактора: близость гласных — ассимилирующее действие оказывает тот гласный, который расположен ближе к потенциально ассимилируемому, а также относительную «силу» гласных — в качестве наиболее «сильного» считается гласный *a*, наиболее слабыми — *i*, *e* при *ö*, занимающем промежуточное положение в этой иерархии [Anderson L. B. 1980].

В принципе такой подход не должен вызывать возражения. В грамматике известны ситуации, когда разные закономерности, требования к оформлению языковых единиц оказываются в состоянии конфликта, и необходимо предположить существование некоторой иерархии факторов, которая обуславливала бы предпочтительный выбор того или иного правила в каждом конкретном случае, если результаты их одновременного /129//130/ применения несовместимы (ср. выбор формы респектива в японском языке в зависимости от возраста, социального статуса и пола собеседника, когда ориентация на разные — из перечисленных — признаки предъявляет несовпадающие требования к оформлению глагола [Холодович 1979: 58–72]). Нет оснований исключать возможность

иерархии факторов того же рода и в морфонологии, хотя, конечно, в этой сфере реакции носителя языка более автоматизированы. Для нас важно, что возможная «взвешенность» фонологических (морфонологических) правил носит системный характер, поэтому слушающий и в этих условиях может пользоваться сингармонистическими контурами как самостоятельными пометами слов, лишь внося поправку на применимость/неприменимость данного правила согласования в определенных условиях.

Подведем итоги: каковы же функции сингармонизма и — коль скоро это традиционный вопрос — насколько близки они функциям ударения?

1) Сингармонизм выполняет консолидирующую, или организующую, функцию, «помогая» аффиксам войти в состав словоформы при формировании последней как единицы текста. Ударение, скорее, косвенно и ослабленно выполняет эту функцию, притом реализует ее применительно к аспекту речевосприятия.

2) Сингармонизм выполняет делимитативную функцию, хотя одной информации о сингармонистических моделях недостаточно для разбиения текста на слова. Ударение дает однозначное словоделение только в том случае, если это фиксированное ударение. Любое ударение позволяет определить число слов в тексте.

3) Сингармонизм повышает избыточность текста, ударение не связано с этой функцией.

4) Сингармонистическая модель слова — его самостоятельная характеристика, которая может использоваться при восприятии речи до определения точного фонемного состава слова: знание сингармонистического типа слова позволяет произвести его грубую, приблизительную идентификацию, которая будет уточнена в процессе последовательного подключения других компонентов и уровней системы языка. Иначе говоря, сингармонизм принадлежит к «просодиям» слова. Именно таким же образом в восприятии речи используется информация об акцентном контуре слова.

Последнее — главная точка соприкосновения сингармонизма и ударения: в аспекте восприятия речи они принадлежат к классу изофункциональных явлений — «просодий» слова. К этому же классу принадлежат и другие признаки и категории, такие, как длина слова в слогах, тип распределения в слове согласных, возможно, и гласных, и др. Полный состав класса нам неизвестен. Таким образом, сингармонизм и ударение — явления одного порядка, но отнюдь не тождественные функцио-^{/130//131/}нально. Часть их функций одинакова, часть — различна. Вместе с тем близость функций создает предпосылки к своего рода комплементарности: коль скоро в языке представлен сингармонизм, выполняющий ряд функций, свойственных обычно ударению, то такой язык может «обойтись» без ударения. Не случайно абсолютное

большинство языков, в которых наличие ударения сомнительно, — это сингармонистические языки (монгольские, тюркские, палеоазиатские, тунгусо-маньчжурские и некоторые другие). Из этого, однако, в принципе не следует, что сингармонизм и ударение несовместимы — вопрос об их сосуществовании должен решаться отдельно в каждом конкретном случае.

8. Остается, наконец, важный вопрос преимущественно типологического характера: есть ли связь между наличием сингармонизма и типом языка с грамматической точки зрения?

По-видимому, все сингармонистические языки носят ярко выраженный агглютинативный характер⁶. Есть ли что-либо в агглютинации, способствующее развитию сингармонизма в качестве ее типичного спутника?

Пожалуй, сначала необходимо внести некоторые уточнения в понимание агглютинации. Агглютинация обычно противопоставляется флексии. Однако представляется целесообразным исходить из того, что между этими двумя традиционными категориями грамматической типологии нет прямого противопоставления: есть два двоичных признака «агглютинативность/неагглютинативность» и «флективность/нефлективность» и возможны все комбинации между их значениями. Опуская детали, скажем, что агглютинативность (агглютинация) — это наличие одного-единственного грамматического показателя как средства выражения данной частной грамматической категории в том смысле, что выбор между показателями, если их «материально» более одного, определяется только фонетическими (фонологическими) факторами. Наличие нескольких показателей (более одного) для передачи тождественного грамматического значения, выбор между которыми не обусловлен фонологически, квалифицируется как неагглютинативность [Гринберг 1963; Квантитативная типология... 1982]. Как уже говорилось в гл. II, для агглютинативности характерна алломорфия, а для неагглютинативности — синонимия аффиксов (с. 43),

Под флективностью уместно понимать такое свойство грамматического показателя, которое заключается в его причастности к оппозициям двух типов. Так, русское окончание существительных данную форму противопоставляет одним членам парадигмы по числу, другим — по падежу [Квантитативная типология... 1982]. Нефлектив-/131//132/ность — это отсутствие указанного свойства, вхождение формы, образуемой показателем, в оппозицию только одного типа.

Агглютинативность/неагглютинативность и флективность/нефлективность, разумеется, характеристики аффиксов, а не языков в целом.

⁶ Это относится и к палеоазиатским инкорпорирующим языкам: инкорпорация и агглютинация расположены как бы в разных плоскостях, и выделение инкорпорирующего типа наряду и наравне с флективным, агглютинативным и др., в сущности, некорректно.

Можно привести следующие примеры. В русском языке аффикс несовершенного вида *-ыва/-ива* неагглютинативен, так как имеются и другие грамматические показатели, служащие средством имперфективации глаголов, и нефлективен, поскольку его участие противопоставляет словоформу другим в рамках лишь одной категории — вида. Падежные показатели существительных по вполне понятным основаниям неагглютинативны и флективны. Показатель формы деепричастия несовершенного вида агглютинативен и нефлективен. Окончание *-а* в глагольных формах женского рода агглютинативно, поскольку универсально (ср. *несла, сохла, читала, говорила* и т. п.), и флективно, потому что форма с его участием входит одновременно в оппозицию по роду (*нес ~ несла*) и по числу (*несла ~ несли*).

Естественно считать агглютинативным такой язык, аффиксы которого в подавляющем своем большинстве одновременно агглютинативны и нефлективны. Именно такое сочетание значений признаков дает картину, хорошо знакомую по «классическим» агглютинативным языкам, когда аффиксы в одно и то же время унифицированы, т. е. единственны для передачи данной грамматической категории (с поправкой на автоматическое варьирование), и моносемантичны. Из этого, в свою очередь, вытекают два следствия, также хорошо известные на материале тюркских, монгольских и других агглютинативных языков. Моносемантичность аффиксов агглютинативных языков обуславливает необходимость их комбинирования в рамках одной словоформы — употребления (в строгом порядке) цепочки аффиксов со своим значением каждый. Унифицированность, стандартность аффиксов, которые либо неизменяемы, либо, чаще, варьируют автоматически в соответствии с определенными фонетическими правилами, ведет к легкой определмости границ между морфемами, к известному феномену морфологической «прозрачности» словоформы, а отсюда и к относительной ее неслитности.

До сих пор мы, в согласии с традицией, именовали основные текстовые единицы агглютинативных языков словоформами, а грамматические показатели, входящие в состав такой словоформы, — аффиксами. Однако, как нам уже приходилось не раз писать [Касевич 1983а; 1977], большинство или, во всяком случае, значительная часть агглютинативных аффиксов радикально отличается по своим грамматическим свойствам от аффиксов традиционных флективных языков (в том числе даже от тех, которые равным образом характеризуются как агглютинативные, нефлективные). Мы имеем в виду прежде всего свойство */132//133/* аффиксов агглютинативных языков вступать в грамматические связи с корнями (основами), которые (связи) выступают как дистантные, к тому же прерываемые. Прежде всего это иллюстрируется примерами так называемого вынесения за скобки, когда

один грамматический показатель примыкает к цепочке корней (основ), нередко разделенных союзом, грамматически относясь одновременно к каждому из них (ср. турецк. *bayan ve baylar* ‘дамы и господа’). Ср. также пример из бирманского языка, который определяется как язык смешанного агглютинативно-изолирующего строя: *ka²p'i² tək'u⁹ε⁴ ko² ɬau⁴ bauŋ³bi²to² 'niŋ¹ śa⁴ eŋ³hi²ko² wu⁴ to⁴kau⁴ təh'auiŋ³ko² kaiŋ²ka² e³ja²wəti² mi²kaŋ³h'e² tə'li²au⁴ śau⁴ju⁹e¹ la²khe¹i¹* ‘Выпив чашку кофе, надев шорты и рубашку, взяв трость, [он] отправился гулять по берегу Иравади’. В примере показатель глагольной формы *-ka²*, функционирующей как второстепенное сказуемое (‘выпив’, ‘надев’, ‘взяв’), относится одновременно к трем глаголам, примыкая лишь к одному из них — *kaiŋ²ka²* ‘взяв’, а от других будучи отделен грамматически не связанными с ним словами.

Указанное свойство аффиксов агглютинативных языков делает их единицами, промежуточными по отношению к «настоящим» аффиксам, с одной стороны, и служебным словам — с другой: подобно первым, они ничем не могут быть отделены от того корня (основы), к которому примыкают, кроме таких же, однородных, корней (основ); подобно последним, они способны обладать дистантными прерываемыми связями. Такого рода грамматические показатели мы предлагали называть «связанными служебными словами», а образованные с их участием словоформы — «связанными словосочетаниями» [Касевич 1983а]; альтернативными могли бы быть термины «квазиаффиксы» и «квазислова» соответственно.

К сказанному можно добавить и еще одно соображение, связанное с понятием нулевого показателя. В языках типа русского материальные границы слова могут не совпадать с его структурными границами: там, где «физически» налицо лишь основа, структурно представлены основа и окончание (ср. *ножек, читай*). Реальность нулевого окончания следует из единственности (обязательности) состава словоформы. Но в агглютинативных языках трудно, если не невозможно, говорить об обязательном составе словоформы; если принять в качестве обязательного такой ее состав, в котором употреблен максимальный из возможных набор аффиксов, то отсутствие любого аффикса придется трактовать как нулевой аффикс. В результате мы получим множество словоформ с цепочками «нулей», что будет не только неэкономно, но в ряде случаев войдет в противоречие с фактами. Дело в том, что в агглютинативных языках отсутствие данного аффикса часто не исключает присутствия значения, включающего семантику не представленного в словоформе аффикса. Например, неупотребление показателя /133//134/ множественного числа существительного совместимо с реальным значением множественности, выводимым из контекста.

Таким образом, для агглютинативного языка в целом нетипично использование нулевых аффиксов. Из этого следует, что структурные

границы словоформы здесь совпадают с ее материальными границами, из чего, в свою очередь, вытекает, что, прибавляя «аффикс» к знаменательной единице, традиционно именуемой основой или корнем, мы не замещаем позицию нулевого аффикса в слове (ср. *стол-Ø* → *стол-а*), а именно прибавляем грамматический показатель к слову. Но аффикс не прибавляется к слову — он может лишь заменяться «внутри» слова, к слову же присоединяется служебное слово. Иначе говоря, это еще раз доказывает, что «аффиксы» агглютинативных языков в действительности таковыми не являются, по своим грамматическим признакам они едва ли не в большей степени тяготеют к служебным словам.

Основной вывод должен заключаться в том, что «словоформа» (связанное словосочетание, квазислово) агглютинативного языка — это единица, с грамматической точки зрения обладающая слабо выраженной внутренней цельностью, поскольку состоит она из относительно самостоятельных элементов — корня и связанных служебных слов, или квазиаффиксов, каждый из которых несет свою семантику и функцию. Повидимому, здесь и грамматические показатели, и корни (основы) являются словарными, инвентарными единицами, а все квазислово — конструктивной (см. с. 117). Слово флективного языка изменяется, слово (квазислово) агглютинативного — конструируется.

В описанных условиях возникает необходимость в повышенном «фонетическом обеспечении» единиц, агглютинативных языков. Будучи лишены той внутренней слитности, цельности, грамматико-семантической взаимопредсказуемости своих компонентов, которые присущи словам флективных языков, агглютинативные единицы должны получить «взамен» фонетическое оформление, способствующее их внешней цельности⁷. Именно эти задачи и выполняют такие фонологические средства, как сингармонизм, сегментный или тональный, или же ударение типа японского, создающее акцентный контур слова. Таким образом, сингармонизм — отнюдь не внешняя черта языка, подвид ассимиляции или, шире, метафонии [Anderson S. R. 1980]. Сингармонизм вызывается к жизни глубинными свойствами агглютинативных /134//135/ языков, он выполняет важную функцию оформления квазислов, которым иначе «не хватало бы» цельности. С точки зрения речепроизводства сингармонизм выполняет консолидирующую функцию, с точки зрения речевосприятия

⁷ Мы никоим образом не хотим сказать этим, что единицы агглютинативных языков должны как бы «подравниваться» под флективные слова как идеальные образцы. Оценочные соображения в таких случаях абсолютно неуместны (хотя и можно было бы утверждать, что механизм агглютинации в известной мере «логичнее» и экономнее, нежели механизм флексии). Речь идет о том, что в тексте любого типа должны быть относительно легко выделяемые единицы и в языках разной типологии это достигается различными средствами.

обеспечивает первичную сегментацию текста на квазислова и вероятностную их идентификацию.

СИНТАКСИЧЕСКАЯ МОРФОНОЛОГИЯ

9. В синтаксической морфонологии мы, конечно, имеем дело с интонацией, т. е. синтаксическая морфонология по своим средствам носит просодический характер (и рассматривается в данной главе, а не предыдущей, лишь в силу специфичности своей проблематики).

Нас будут сейчас интересовать, разумеется, не все вопросы, связанные с интонацией; вначале следует обратиться к двум из них: являются ли интонымы знаками или фигурами выражения и есть ли граница между интонационной фонологией (интонологией) и синтаксической морфонологией.

На первый вопрос в литературе можно найти разные ответы. Одни авторы считают интонацию знаковым элементом языка, поскольку, скажем, вопросительная интонация обладает планом выражения — повышением мелодики и планом содержания — значением вопросительности⁸. Другие авторы более традиционно относят интонацию исключительно к компетенции фонологии, тем самым закрепляя за интонамимами статус фигур, а не знаков (см. об этом, например, [Проблемы и методы... 1980: 35]).

Разрешение сформулированного здесь вопроса зависит во многом от данных эмпирического порядка. Если некоторый интонационный тип, например, повышение частоты основного тона⁹, всегда употребляется для передачи одного и того же значения, например вопросительности, причем такая связь типична для большинства интонационных типов, то интоному можно признать знаком. Правда, это специфический знак — нелинейный; трудно сказать, можно ли считать его морфемой (словом?), а если нет, то что собой представляет этот знак по сравнению с другими знаками языка. Ведь все остальные знаки языка являются морфемами или состоят из морфем.

Если, напротив, данный интонационный контур используется для оформления функционально разных единиц, для выражения разных значений (например, повышение частоты основного тона для выражения и вопросительности и незавершенности), то уместнее полагать, что интонома — это фигура, односторонний элемент языка, в этом сходный с фонемой, но только имеющий несегментную природу. Существует, стало [/135//136/](#) быть, относительно автономная система противопоставленных интоном,

⁸ Ср.: «Фразоразличительные средства являются самостоятельными знаками» [Трубецкой 1960: 254].

⁹ Мы сознательно упрощаем вопрос о реализации интонации.

которые используются для выполнения различных функций, обычно синтаксических. В этом случае, разумеется, не возникает сложностей, связанных с необходимостью определить место интоном в общей системе языка.

Факты разных языков как будто бы свидетельствуют в пользу второго варианта ответа на поставленный вопрос. Так, в английском языке один и тот же интонационный контур может оформлять и утверждение и специальный вопрос (см., например [Глисон 1959: 89]); нередко также близость вопросительной интонации и интонации незавершенности. Различение соответствующих высказываний, синтагм обеспечивается синтаксической структурой и окружением.

Заметим, что если какие-то интонационные контуры и связаны однозначно с выражением того или иного значения, их даже и в этом случае целесообразнее включать в общую систему интоном-фигур. Приведем такую аналогию: если в языке обнаружилось гласноподобное или согласноподобное звучание, использующееся для передачи одного-единственного значения, то вряд ли мы станем выделять такую единицу в качестве двустороннего знака, не интерпретируя его план выражения в терминах фонем; скорее всего, мы включим в общую систему фонем соответствующую гласную или согласную, оговорив их специфичность (или вообще выведем данное звучание за пределы языка, отнеся к звуковым жестам). Точно так же обстоит дело с интонационными контурами, которые целесообразно рассматривать в качестве фигур, членов собственной системы даже и в том случае, когда они привязаны к передаче одного значения¹⁰.

10. Коль скоро мы согласились считать, что интономы суть члены особой фонологической подсистемы, а не знаки, возникает необходимость решить следующий вопрос — о разграничении интонологии и синтаксической морфонологии. Очевидно, что последняя обладает спецификой, если существует связь между синтаксическими и просодическими процессами.

Здесь естественно обратиться к парадигматическим и деривационным отношениям в синтаксисе. Требуется показать, что переход от одного члена синтаксической парадигмы к другому и от производящего предложения к производному может сопровождаться закономерными изменениями в их просодическом (интонационном) оформлении.

Возьмем в качестве примера синтаксическую парадигму, которая образуется активной и пассивной конструкциями. Нам не известны языки, в которых переход от конструкции типа *Плотники строят дом* к

¹⁰ В качестве примера можно привести особую интонацию цитатности (пересказывательную) в бирманском языке.

конструкции *Дом строится плот-/136//137/никами* сопровождается заменой интонационного контура¹¹. Следовательно, здесь нет повода для того, чтобы говорить о наличии особой морфонологической ситуации.

Однако если мы возьмем другую синтаксическую парадигму, включающую разные коммуникативные типы предложений, то соотношенность между сменой синтаксического типа и его просодическим оформлением, несомненно, обнаружится: предложения *Ты спишь. Ты спишь? Спи!* отличаются интонационно.

В этой связи надо вспомнить о необходимости разграничения разных чередований, о которой говорилось ранее применительно к заменам фонем: к морфонологии относятся только те чередования, что сопровождают грамматические процессы, и не относятся чередования, служащие единственным средством выражения этих процессов. Когда вопросительность предложения *Ты спишь?* выражается только использованием данной интонации, мы имеем дело с (просодической) фонологией, непосредственно поставленной на службу грамматике, синтаксису. В тех же случаях, когда основными средствами передачи вопросительности (*Спишь ли ты?*) или побудительности (*Спи!*) служат определенные синтаксические, лексические и/или морфологические средства, использование которых сопровождается особым просодическим оформлением, можно утверждать, что мы имеем дело с морфонологией.

С этой точки зрения обнаруживаются значительные различия между фонологическим и морфонологическим использованием интонации как в пределах одного языка, так и между языками. Так, общий вопрос в романских и германских языках обычно выражается особыми синтаксическими конструкциями, но одновременно вопросительные высказывания получают специальную интонационную характеристику.

Применительно к такой ситуации объективно открываются две возможности трактовки. Если интонационный контур, используемый для оформления вопросительной конструкции, встречается и в высказываниях с иной грамматической структурой, причем вне синтаксической парадигмы «повествовательная/вопросительная/побудительная конструкция», то использование интонации носит морфонологический характер. Если же интонационный контур, сопровождающий вопросительную конструкцию, не встречается при конструкциях иной природы, то возникает, в свою очередь, три возможных варианта истолкования: 1) интонация есть дополнительный, собственно фоноло-/137//138/гический способ передачи

¹¹ Такая замена может иметь место в том случае, когда вместо пассива используется вынесение слова, соответствующего объекту ситуации, в позицию темы, выделенной интонационно. Это характерно для языков, не обладающих пассивными формами глагола, но широко использующих изменение тематическо-рематической структуры высказывания за счет позиционного и интонационного обособления слова-темы. К языкам этого рода относятся многие моносиллабические.

синтаксического значения вопросительности; 2) мы имеем дело, допустим, с интонацией повествовательности, которая в данном контексте выступает в виде соответствующего варианта; 3) ввиду предсказуемости интонации, она даже не фонологична, не составляет функционально самостоятельного средства, а должна рассматриваться как компонент плана выражения сложного знака, реализующийся («добавляющийся») в данном контексте.

Предпочтительнее первый вариант трактовки. Дело в том, что и второй и третий варианты предполагают аллофоническую интерпретацию просодического компонента в оформлении высказывания, разница между ними заключается только в выборе аллофонов — аллофонов ударных гласных (или слогов) для третьего варианта и аллофонов интонемы — для второго; но понятие аллофона с необходимостью предполагает понятие контекста, а в нашем случае контекст оказывается грамматическим (вопросительная конструкция). Между тем не известен, кажется, ни один случай, когда появление аллофона — варианта фонологической единицы — вызывалось бы грамматическим, а не фонетическим (фонологическим) контекстом. Это вполне понятно, ибо с грамматическим контекстом могут взаимодействовать только единицы, имеющие функционально самостоятельный статус, т. е. фонологические единицы, а не их варианты.

Для нас, впрочем, здесь важнее всего, что при любой трактовке функция интонации оказывается не морфонологической, если нет своего рода чередования интоном, сопровождающего синтаксические процессы.

В тональных языках просодическое оформление вопросительного предложения может вообще не отличаться от интонирования повествовательного. Здесь, как правило, существует особый грамматический показатель вопросительности — служебное слово, употребляющееся в конце высказывания, а в некоторых языках — в качинском, ряде чинских — еще и коррелятивный ему показатель повествовательности. В этих условиях (где нужно учитывать также и «занятость» просодики нуждами тонального оформления слогоморфем) использование интонации для противопоставления повествовательности/вопросительности может оказаться излишним.

В отличие от этого в русском языке интонация — обычно единственное средство выражения общего вопроса. Поэтому чередование интоном, не вызываемое грамматическим контекстом, не выступает как побочное, т. е. морфонологическое, средство. Это просодико-синтаксический аналог внутренней флексии.

Специальный вопрос в любом языке выделяется употреблением особого слова — вопросительного местоимения или некоторого его аналога. Будем считать, что употребление такого слова есть грамматическая характеристика конструкции со [/138//139/](#) специальным вопросом. Тогда конструкция всегда будет отличаться от повествовательной вне зависимости от того, используется ли в ней особый

порядок слов и вспомогательные глаголы (как в романских и германских языках) — или же введением вопросительного слова отличия конструкции исчерпываются (как в славянских языках). Соответственно статус интонационного контура, ассоциированного с конструкцией специального вопроса, зависит, как и при общем вопросе, от наличия чередования самостоятельных интоном при переходе от повествовательной конструкции к вопросительной: если чередование есть, то интонация функционирует морфонологически.

Деривационные процессы в синтаксисе также могут сопровождаться употреблением специфических интоном. К синтаксической деривации можно относить сочетание простых предложений в пределах сложного, а также введение в состав предложения зависимого оборота, полученного путем трансформации простого предложения [Касевич 1977: 104]. Если указанные процессы влекут за собой смену интонационных контуров, самостоятельно представленных в системе, то перед нами морфонологическое использование интонации. Такова ситуация, когда интонация незавершенности и интонация вопросительности суть варианты одной интономы, и придаточное предложение вводится служебным словом, например, *Если он придет, скажите мне*. Но при паратактическом подчинении предложений, где подчинение выражается только интонационно, роль интонации — собственно-синтаксическая, например, *Он придет — скажите мне*¹².

О морфонологическом функционировании интонации нужно говорить, по-видимому, в тех случаях, когда просодическое выделение получает слово, вынесенное с целью эмфазы в синтаксически маркированную позицию. Например, основным средством эмфазы в предложении *Я шофером работаю* служит синтаксический прием — инверсия дополнения, а интонационное выделение лишь сопровождает инверсию.

Не следует думать, что выяснение статуса интонации носит чисто номенклатурный характер. Согласно современным представлениям, интонирование предложения есть результирующая двух компонентов: базисного мелодического контура и реализации словесных команд, показывающих необходимость повышения или понижения частоты основного тона, крутизну повышения (понижения) на отрезках, соответствующих определенным словам [Проблемы и методы... 1980: 123 и сл.]. Поскольку базисный мелодический контур «одинаков для всех интонационных типов, а различие последних достигается за счет разнообразия словесных команд» [Проблемы и методы... 1980: 124], то

¹² Если в данном случае порядок предложений трактовать как основной грамматический способ их связи, а интонацию — как сопутствующий, то и здесь можно будет говорить о морфонологическом использовании интонации.

первый вопрос ставится таким /139//140/ образом: существуют ли блоки словесных команд, которые соответствовали бы разным синтаксическим структурам? Выше уже говорилось о возможном сходстве интонирования вопросительных и незавершенных конструкций, здесь это можно реинтерпретировать как существование одного и того же блока словесных команд, который используется для просодического оформления указанных двух конструкций, синтаксически принципиально различных.

Второй из вопросов, разбиравшихся выше (с. 136–138), можем сформулировать и так: существует ли принципиальное различие между основной (единственной) ролью интонации для указания на синтактико-коммуникативный тип высказывания и ее сопроводительной, побочной ролью в маркировании типа высказывания?

Косвенный ответ дают результаты экспериментов по восприятию интонационных типов на материале синтезированной русской речи. В этих опытах «обнаружилась функциональная неравноценность одинаковых просодических изменений для выявления разных коммуникативных типов. Как и в ряде других исследований, проведенных на материале естественной и синтезированной речи... обнаружилось, что интонация специального вопроса и повествования опознается лучше всех других, а побудительная — хуже всего» [Проблемы и методы... 1980: 125–126]. Такой результат в целом понятен: специальный вопрос маркирован употреблением особого вопросительного слова, поэтому фактически здесь опознается не столько интонация, играющая вспомогательную, побочную роль, сколько сам однозначно выявляемый тип высказывания. Повествовательный тип опознается хорошо, прежде всего, видимо, потому, что это — немаркированный член оппозиции, немаркированность повышает вероятность адекватной идентификации. Плохая распознаваемость интонации побудительности менее ясна. Сама эта интонация обычно может быть значительно «сглажена» вплоть до совпадения с повествовательной, однако побудительный тип высказывания создается не столько интонацией, сколько формой глагола и синтаксической структурой. В условиях эксперимента, данные которого мы используем, были налицо, очевидно, и синтезированный интонационный контур, и необходимые грамматические характеристики высказывания, так что результаты здесь требуют дальнейшего осмысления.

Авторы коллективной монографии пишут, что полученные данные «позволяют экспериментально обосновать идею об иерархической организации коммуникативных типов в русском языке» [Проблемы и методы... 1980: 126]. Одна из основных причин неодинаковой опознаваемости высказываний разных коммуникативных типов по их интонации, возможно, заключается в различном — фонологическом и собственно-грамматическом или же морфонологическом — статусе

интонации для разных коммуникативных ти-/140//141/пов. Естественно, что когда интонация функционирует как дополнительный маркер синтактико-коммуникативного типа, ее функция ослаблена. Сам тип высказывания, как маркированный дважды — грамматически и интонационно — опознается лучше, но интонационный контур может при этом иметь менее ярко выраженные характеристики. В эксперименте «развести» эти два аспекта — лексико-грамматический и интонационный — нелегко.

В тех случаях, когда интонация не носит морфонологического характера, ее функциональная нагрузка повышается. Как можно видеть, сказанное выше в целом хорошо согласуется с известным «принципом замены» А. М. Пешковского [Пешковский 1959].

Нужно учитывать, что неверно было бы исходить из интонации как чего-то «надстраивающегося» над высказыванием. Это — своего рода транскрипционный подход: когда перед нами записанное предложение, содержащее, скажем, местоименный актуализатор — инициальное *что* (ср. *Что, он уже написал свою книгу*), то мы знаем, что высказывание должно интонироваться данным определенным образом. Но в реальной речевой деятельности положение иное. В плане речепроизводства программируется и лексический состав, куда включается слово *что*, и интонация, которые одновременно нужны для воплощения данного смысла и взаимозависимы¹³. С точки зрения речевосприятия вряд ли можно говорить, что наличие инициального *что*, как иногда считается, ведет к нейтрализации интонации ввиду предсказуемости последней. Употребление *что* и соответствующей интонации, с одной стороны, взаимосвязаны, с другой же — есть основания утверждать нечто прямо противоположное выводимости интонации из наличия *что*: это слово в принципе можно опустить, высказывание сохранит основной смысл, в то время как интонация как будто бы не может быть «опущена», заменена на повествовательную без разрушения смысла высказывания. Таким образом, интонация не только не «нейтрализуется», но, напротив, выступает основным средством выражения вопросительности, как это и должно быть в общем вопросе русского языка, а *что* служит более актуализации, нежели передаче вопроса.

Когда же интонация функционирует морфонологически, то она действительно используется в качестве дополнительного маркера тех или иных значений, но и в этом случае речь должна идти о параллельном употреблении фонологического средства, имеющего и собственную функциональную значимость. /141//142/

¹³ Ср.: «...Интонационная расчлененность + выделительное слово... — одно актуализационное средство с двумя дифференциальными признаками» [Русская разговорная речь 1973: 349].

Глава VIII

О МОРФОНОЛОГИЧЕСКОЙ ТИПОЛОГИИ ЯЗЫКОВ

1. Прежде чем говорить о типологии языков с морфонологической точки зрения, представим типологию самих морфонологических явлений. По существу, это будет модификация и дополнение известных «трех пунктов» Н. С. Трубецкого [Трубецкой 1967], уже излагавшихся в начале гл. I, на основании анализа, предпринятого в данной работе.

Морфонологические явления, или, может быть, точнее — аспекты морфонологии могут быть дифференцированы прежде всего как «статическая морфонология/динамическая морфонология». Статическая морфонология — это систематические фонологические различия между морфемами, словами разных грамматических (лексико-грамматических) классов, или, иначе говоря, систематическая корреляция между фонологической и грамматической классификацией морфем или слов. Нетрудно видеть, что эта линия разграничения внутри сферы морфонологии соответствует тому, что сформулировано в 1-м пункте у Трубецкого. Это именно статический аспект морфонологии, поскольку здесь мы имеем дело не с процессами, а с некоторым состоянием дел — статической картиной.

Ясно, что к сфере морфонологии динамической относится все, связанное с фонологическими процессами, сопровождающими грамматические: чередования, аугментации, элизии, метатезы, перемещение ударения, фонологическое взаимодействие тонов, изменение интонации. Иначе говоря, это 2-й пункт Трубецкого плюс не учтенные им просодические аспекты морфонологии в той мере, в какой они носят процессуальный характер.

Другой дифференциальный признак для классификации морфонологических явлений связан с типом фонологических средств, которые фигурируют в соответствующих процессах или характеристиках. С этой точки зрения можно говорить о сегментной/просодической морфонологии. К сегментной морфонологии относятся все морфонологические характеристики и процессы, которые описываются в терминах фонем, слогов, слоготем. Из области динамической морфонологии это альтернации, аугментации, элизии, метатезы. Естественно, что к просодической морфонологии принадлежат все явления и процессы, связанные с ударением, тоном, интонацией.

Наконец, последний признак, который кажется необходимым использовать для дифференциации морфонологических характеристик, отражает соотнесенность с грамматической единицей, в которой они реализуются. С этой точки зрения различаются морфонология морфемы (в

моносиллабических язы-^{/142//143/}ках — также слогоморфемы), морфонология слова и морфонология предложения.

Предложенные три признака служат своего рода системой координат, пользуясь которой можно достаточно полно охарактеризовать то или иное морфонологическое явление, так сказать, лоцировать его в морфонологическом пространстве, т. е. определить с точки зрения типологии морфонологических средств языка. Например, если в языке противопоставлены по-составу фонем корни и аффиксы (см. об этом ниже), то с точки зрения первого признака это статическая морфонология, с точки зрения второго — сегментная и — третьего — морфонология морфемы. Аналогичным образом можно перечислить релевантные типологические параметры любого морфонологического явления.

2. Как хорошо известно, в лингвистике еще не существует общепринятой (и вообще достаточно разработанной) теоретической схемы, которая давала бы комплексную типологическую характеристику языков по всем параметрам. Вместо такой общей типологии разрабатываются с большей или меньшей степенью успеха частные — фонологическая, морфологическая, синтаксическая, семантическая или еще более специальные в рамках этих последних. Соответственно целесообразно дополнить существующие типологии также и морфонологической. В полном объеме такая типология — дело будущего, поскольку еще не выполнены удовлетворительные морфонологические описания большинства языков, и в данной главе обсуждаются лишь основные принципы типологического анализа в морфонологии.

Учитывая конечную цель — иметь общее описание языков в типологическом плане, целесообразно сначала попытаться установить корреляции между сравнительной характеристикой языков в грамматической типологии и их возможным местом в типологии морфонологической. Естественно прежде всего соотнести тип языка в рамках традиционной морфологической типологии и морфонологические характеристики языков, принадлежащих к соответствующему типу.

Морфологическая типология различает четыре основных класса языков: флективные, агглютинативные, аналитические, изолирующие¹. Даже при самом поверхностном взгляде на морфонологию языков указанных классов видно, что существуют устойчивые связи между типом языка и развитостью его морфонологии. Если ограничить рассмотрение морфонологией, оперирующей сегментными фонологическими средствами, то ^{/143//144/} можно сказать, что удельный вес морфонологических явлений, их «представленность» в системе языка

¹ Реально эта типология не является чисто морфологической, так как в ней учитываются и некоторые синтаксические признаки. Мы используем традиционное обозначение этой типологической схемы как морфологической лишь для простоты.

убывают от флективного типа к изолирующему. Хорошо известно, что именно для флективных языков наиболее типичны чередования, элизии (реже — метатезы). Среди чередований фонем значительное место занимают неавтоматические, которые в первую очередь, как уж не раз говорилось, и вызывают к жизни особую область языка и языкознания — морфонологию. Во многих флективных языках представлена и особая область морфологии — фономорфология, близко соприкасающаяся с морфонологией (см. гл. I).

Агглютинативными являются те языки, где типично соответствие «одна (частная) грамматическая категория — один аффикс», а варианты аффиксов и вообще морфем, как правило, определяются фонологическим контекстом, т. е. являются автоматическими. Отсюда следует, что область морфонологии в агглютинативных языках в сравнении с флективными существенно сужена. Более того, морфонологии в этих языках принадлежит периферийная роль: хотя чередования фонем в составе морфемных экспонентов здесь чаще всего в высшей степени типичны, а в сингармонистических языках пронизывают собой всю систему, условия их наступления не определяются морфологической позицией. Иначе говоря, в агглютинативных языках основная часть морфонологических процессов принадлежит морфонологии в силу того, что они ведут к алломорфии — но не в силу того, что фонологическая вариантность имеет чисто морфологические причины, как это типично для флективных языков.

Таким образом, можно сказать, что насыщенность языка «подлинными» морфонологическими явлениями находится в прямой зависимости от свойственного ему индекса агглютинации: отношения числа агглютинативных швов к общему числу морфемных (морфных) швов в тексте [Гринберг 1963]. Чем выше индекс агглютинации, тем меньше представлены в языке алломорфы, фонологический облик которых определяется морфологическим контекстом.

Аналитические языки в этом отношении (как и во многих других) отличаются смешанными характеристиками. С одной стороны, индекс агглютинации в аналитических языках достаточно высок, например, в персидском он равен 0,83 [Квантитативная типология... 1982: 270]. С другой — во многих аналитических языках представлена, хотя обычно и пережиточно, фонологически немотивированная алломорфия, которая если не с количественной то с качественной точки зрения изменяет морфонологический облик этих языков. Причины этого явления носят диахронический характер: многие языки, сегодня классифицируемые как аналитические, в своем прошлом носили ярко выраженный флективный характер (ср. английский, персидский, хиндустани). /144//145/

Крайнюю точку «морфонологической шкалы» занимают изолирующие языки. Индекс агглютинации в этих языках стремится к единице [Квантитативная типология... 1982], и соответственно

морфонология (во всяком случае, ее сегментная сфера) сведена к минимуму, а в таких языках, как вьетнамский, практически отсутствует: здесь каждая морфема обладает единственным вариантом, даже автоматическое варьирование почти исключено.

В изолирующих языках варьирование, если оно имеет место, затрагивает не столько морфему, сколько слогоморфему: фонологические чередования наступают на стыке слогов, вне зависимости от того, служат ли последние экспонентами морфем. Например, в бирманском языке именно такой характер носит замена придыхательных и непридыхательных глухих инициалей звонкими (непридыхательными) после слогов в одном из первых трех тонов, ср. /mi^o/ ‘город’ + /sa³/ ‘есть’ → /mi^oza³/ ‘наместник’, ‘градоправитель’ и /suŋ¹/ + /sa³/ → /suŋ¹za³/ ‘рисковать’, где /sa³/ — асемантическая слогоморфема².

Все изложенное выше относилось к сегментной динамической морфонологии. Вероятно, более известны типологические различия между языками в сфере сегментной статической морфонологии. Здесь следует выделить два аспекта. Первый — это соотношение морфем с точки зрения их знаменательности/служебности и отвечающие ему фонологические различия. Второй — соотношение частеречных и фонологических классов морфем.

Первый аспект связан с типичной для данного языка или языков структурой корня (и основы), а также с ее противопоставленностью структуре служебной морфемы, прежде всего аффикса. Достаточно красноречивы в этом отношении данные русского языка, где фонологическая структура аффикса характеризуется как ГС для именных суффиксов, СГ, а также ГС или, реже, ГСГ для глагольных окончаний, в то время как именной корень представлен чаще всего структурой СГС, а глагольный добавляет к этому структуру СГ [Чурганова 1973]. Существенно также, что имеются достаточно жесткие ограничения на употребимость согласных, гласных, определенных их сочетаний в составе экспонентов аффиксов. Так, в именном суффиксе употребимы следующие согласные сочетания: *ст, с't', ств, ск, зн, с'н', нд* [Чурганова 1973: 105]. Хрестоматиен материал семитских языков, где корень, как правило, имеет структуру ССС, в то время как для трансфиксов характерна структура ...Г...Г..., для суффиксов и префиксов — ГС, для инфиксов — С. Аналогичные различия не только между знаменательными и служебными морфемами, но и внутри класса служебных, обнаружены и на материале других языков [Абдалян 1978; Виноградов В. А. 1972; Охотина 1972].

Для большинства индонезийских языков, а также для япон-
/145//146/ского типична двусложность корня, что находит, заметим,

² /suŋ¹/ имеет значение ‘жертвовать’, но без /sa³/ не может передавать значение ‘рисковать’, хотя /sa³/ сама по себе не имеет значения.

фонологическое объяснение: в этих языках довольно беден фонологический инвентарь, поэтому вступает в действие закономерность, согласно которой при меньшем числе единиц кода нужно использовать более длинные цепочки для передачи того же объема информации, что и с помощью более «богатого» кода.

К обсуждаемому аспекту морфонологической типологии принадлежит и проблема моносиллабизма изолирующих языков, если понимать ее традиционно — как преимущественную односложность морфемы и/или слова. Более обычен последний вариант: трактовка языков Китая и материковой Юго-Восточной Азии как моносиллабических в силу предполагаемой односложности их слов. Мы говорим о «предполагаемой» односложности, поскольку утверждения о моносиллабичности соответствующих языков обычно не сопровождаются эксплицитным введением критериев слова, а без таких критериев решить вопрос о том, какие слова преобладают в словаре, очевидным образом нельзя [Касевич 1979].

Мы уже говорили (см. с. 13), что слово как особая единица играет более или менее периферийную роль в грамматике китайского, вьетнамского и подобных языков. Соответственно ситуацию, с нашей точки зрения, нужно описывать следующим образом. Основная единица словаря в языке обсуждаемого типа — это слогоморфема. Слова, состоящие из двух и более слогоморфем, входят в словарь примерно таким же образом и на тех же основаниях, что и фразеологизмы в «традиционных» языках. Несколько иная картина в предложении. Если выделять в предложении слова как единицы, наделенные внутренней цельностью и относительной свободой передвижения³, то можно сказать, что в предложении одиночные слогоморфемы, выполняющие особые синтаксические функции, также являются словами наряду с многосложными (более чем однослоγοморфемными) словами, удовлетворяющими тем же условиям. Тогда окажется, что слово в интересующих нас языках — единица преимущественно конструктивная, синтаксического плана, и относительно именно этой единицы (а не единицы словаря) целесообразно задаваться вопросом о ее типичной односложности/многосложности.

Хотя мы не располагаем необходимой статистикой, ответ кажется более или менее ясным: во-первых, в предложении языков типа китайского, вьетнамского действительно представлены преимущественно односложные слова; достаточно широко используются и многосложные члены предложения, но они очень часто не являются словами, а представляют собой промежуточные — между словом и словосочетанием

³ Это, разумеется, не заменяет специальных критериев выделения слов, о них см. в работах [Касевич 1979; Касевич 1977; Квантитативная типология... 1982].

— структуры /146//147/ слогоморфем разной степени внутренней связанности; во-вторых, морфема в тех же языках, как правило, односложна, она может быть дву- и более сложной (хотя это не очень типично и часто свидетельствует о заимствованности), но не может быть «короче» слога, т. е. неслоговой.

Указанные особенности, несомненно, выделяют соответствующие языки с точки зрения морфонологической типологии. Однако, как и в других отношениях, значимость собственно-морфонологической специфики здесь объективно не очень велика, гораздо важнее особенности, выделяющие эти языки с морфологической и фонологической точек зрения. Впрочем, такое довольно последовательное «отталкивание» от морфонологии, которое демонстрируют эти — изолирующие — языки, представляет несомненный интерес для общей морфонологической типологии.

Что касается второго аспекта статической морфонологии, названного выше — фонологического (морфонологического) противопоставления морфем разной частеречной принадлежности⁴, то данные русского языка уже упоминались выше. В агглютинативных языках, как и во флективных типа русского, могут наблюдаться фонологические различия между именными и глагольными корнями. Наименьшую частеречную дифференциацию с морфологической точки зрения находим в изолирующих языках. Во всех языках фонологически выделяются звукоподражательные и звукоизобразительные слова.

4. Особый аспект представляет собой морфонологическая типология акцентных языков. Если вопрос о собственно-фонологической классификации языков по типу ударения в литературе обсуждался многократно, то морфонологический подход к тому же материалу практически не испытывался. Едва ли не единственная развернутая попытка разработать теоретическую схему для морфонологической типологии акцентных языков принадлежит П. Гарду [Garde 1967], и, естественно, именно о ней пойдет прежде всего речь ниже.

Вслед за А. Мартине П. Гард утверждает, что функция ударения — не дистинктивная, а контрастивная. Ударение «характеризуется тем, что

⁴ Довольно часто говорят, ссылаясь на мнение Л. В. Щербы [Щерба 1974], В. В. Виноградова [Виноградов В. В. 1947], о необходимости учитывать фонологические признаки при классификации слов. Полезно учитывать, что роль этих признаков различна для разных аспектов языка и речевой деятельности. Для речепроизводства важны морфонологические правила, специфически присущие тем или иным процессам образования форм и дериватов в пределах данных классов и подклассов слов. Для речевосприятия существенны отличия в фонологическом оформлении слов, противопоставленных по частеречной принадлежности, коль скоро они облегчают идентификацию слов в тексте. Если же мы имеем дело с признаками, которые может использовать лингвист для описания системы языка, но не носитель языка в речевой деятельности (чаще всего существование таких признаков мотивировано диахронией), то их значимость, безусловно, меньше.

встречается лишь единожды в каждом сло-^{/147//148/}ве, что не является свойством количества или тона. Его роль заключается в том, чтобы устанавливать не оппозиции в парадигматическом плане, а контраст в синтагматическом» [Garde 1967: 33]. Говоря о различии связанного и свободного ударения, Гард утверждает далее, что первое определяется чисто фонологически, в то время как второе лишь с фонологической точки зрения непредсказуемо, с грамматической же позиция устанавливается в зависимости от того, какие морфемы входят в слово. Морфемы обладают акцентными характеристиками, либо «притягивая» ударение, либо «отталкивая» его и т. п.

В принципе акцентные различия между морфемами известны в лингвистике давно. По мнению Гарда, подход к ударению «от морфемы» согласуется с общим положением о том, что «по определению все в языке состоит из морфем и, таким образом, ударение также следует трактовать как принадлежащее к той или иной морфеме» [Garde 1967: 36]. Иначе говоря, само ударение признается свойствам морфемы, а не слова (ср. также некоторые генеративистские концепции, близкие к этому)⁵.

С последним трудно согласиться. Безусловно верно, что все в языке состоит из морфем. В целом справедливо и то, что в ряде языков существуют устойчивые связи между типом морфемы (или же просто входением/невходением данной морфемы в состав слова) и местом ударения. Однако это еще не дает права говорить об ударности морфемы и вообще об ударении как явлении, ассоциированном с морфемами и фактически не имеющем отношения к слову. Во-первых, из реальности (и минимальности) морфемы еще не следует нереальности слова (хотя удельный вес этой единицы в системе разных языков может быть различным, см. об этом выше). Слово как единица особого уровня имеет собственные свойства, признаки, не сводимые к характеристикам своих интегрантов-морфем. Один из признаков слова как единицы — его морфемная структура⁶, другой — акцентная характеристика (в акцентных языках), третий — характеристика семантическая и т. д. Нет ничего «необычного» в том, что между указанными свойствами слова обнаруживается связь.

Во-вторых, Гард не замечает, видимо, противоречия в собственном рассуждении. В языках с фиксированным (связанным) ударением, пишет он, с акцентологической точки зрения, «слово трактуется как нечленимое целое, фонологически сегментированное на слоги и фонемы, но грамматически аморфное» [Garde 1967: 35; разрядка наша. — В. К.]. В языках со связанным ударением, естественно, существуют морфемы,

⁵ Впрочем, это положение выдвигал уже Бодуэн де Куртенэ [Бодуэн де Куртенэ 1963].

⁶ Мы не имеем в виду признаки, выделяющие слово в противоположность, скажем, морфеме (или словосочетанию): подразумеваются те характеристики, которые отличают один тип слова или конкретное слово от другого.

однако /148//149/ ударение здесь Гард (вполне корректно) описывает применительно к слову, так что из того, что «все в языке состоит из морфем», еще не следует, что и ударение должно «принадлежать к той или иной морфеме».

Согласно Гарду, описание правил, определяющих место ударения в языках со свободным ударением, выполняется в две стадии. Сначала устанавливаются акцентные свойства (характеристики) морфем, и Гард считает, что это описание «подобно всему, вносящему свой вклад в определение формы морфем, принадлежит морфологии» [Garde 1967: 37]. Затем следует установление правил, по которым разрешаются «конфликты» между акцентными свойствами разных морфем, входящих в слово данной структуры, поскольку эти свойства могут противоречить друг другу. Последние правила составляют «акцентологию как таковую, введение к фонологии (согласно порядку, принятому в порождающей фонологии) или приложение к ней (согласно традиционному порядку)» [Garde 1967: 37].

II. Гард выделяет прежде всего три типа акцентных языков со свободным ударением.

К первому принадлежат языки, где ударение определяется классом морфемы: так, в немецком языке все корни ударны, аффиксы, за небольшими исключениями, безударны. Поскольку, утверждает Гард, в немецком языке акцентная единица содержит всего один корень, то конфликта между акцентными характеристиками разных морфем в составе слова не возникает.

Надо заметить, что применительно к немецкому языку описание Гарда существенно упрощает картину. Регулярно ударными в немецком языке выступают такие префиксы, как *in-* (*im-*), *un-*, *ur-*, широко распространено суффиксальное ударение, особенно в существительных. Кроме того, излишне категорично утверждение о вхождении всего лишь одного корня в каждую акцентную единицу: до сих пор нет ясности, как следует трактовать чрезвычайно распространенные многокорневые образования, которые традиция считает сложными словами и в которых многие авторы усматривают разные степени ударности, реализующиеся одновременно [Касевич 1983b]. Соответственно выделение первого типологического класса в системе Гарда требует оговорок и, возможно, модификаций.

Второй тип сформирован языками, где место ударения определяется двумя факторами: классом морфемы и линейным порядком морфем в слове. Примером может служить итальянский язык. Здесь также существует два класса морфем: могущие и не могущие принимать ударение. Все корни принадлежат к первому классу, аффиксы же распределяются между первым и вторым. Соответственно в слове, содержащем аффикс, тем более — аффиксы, могут оказаться одновременно несколько морфем, требующих ударения. В этом случае конфликт разрешается в пользу последней из морфем, принадлежащих /149//150/ к первому классу.

Например, в слове *operosité* ударение конечное. Как корень *oper-*, так и аффиксы *-os* и *-ita* требуют ударения (ср. *ópera*, *operóso*), но получает его лишь последняя из таких морфем. К данному типу относятся все романские языки, кроме французского и провансальского.

Третий тип иллюстрируется русским языком. Согласно Гарду, каждая морфема русского языка обладает двумя акцентными характеристиками: тип лоцирования ударения и акцентная сила. Первая характеристика определяет, где в слове должно быть ударение по отношению к данной морфеме. С этой точки зрения морфемы делятся на аутоакцентные, преакцентные, постакцентные и рецессивно-акцентные. Аутоакцентные морфемы, как показывает термин, «самоударны», т. е. ударение падает на саму аутоакцентную морфему. При употреблении преакцентной ударение ставится слева от нее, на предшествующем слоге, а при вхождении в слово постакцентной морфемы — справа, на последующем. Рецессивно-акцентные морфемы вызывают сдвиг ударения на начальный слог слова.

Акцентная сила морфемы — это ее свойство, которое определяет, какой морфеме отдается предпочтение, если в пределах слова сочетаются морфемы с противоречащими акцентными характеристиками. В статье, где излагаются принципы типологического анализа акцентной морфонологии, Гард устанавливает пять степеней акцентной силы для русских морфем. Иначе говоря, каждой морфеме, помимо указания на аутоакцентность, преакцентность и т. д., приписывается индекс от одного до пяти, и акцентный контур слова определяется согласно свойству морфемы, обладающей индексом наибольшей величины⁷. Так, для морфем, входящих в слово *вытеснение*, где *-ий* трактуется как преакцентная морфема, *-ен* — постакцентная, а остальные — аутоакцентные, предлагается следующая иерархия по акцентной силе: *-ий* > *вы-* > *-ен-* > *тесн-* > *о* (флексию среднего рода Гард фонологически трактует как /o/).

По-видимому, основное достоинство типологии П. Гарда — попытка установления своего рода «шкалы морфологичности» ударения для разных языков: один ее полюс займут языки, где роль морфологии в лоцировании ударения равна нулю, другой — языки с морфологически ориентированным ударением. Однако автор скорее всего упрощает картину, стремясь подчинить морфологическому фактору все без исключения случаи акцентуирования конкретных слов (оборотной стороной выступает усложнение необходимых для этого морфонологических правил). Как уже говорилось в гл. VI (с. 104), определение /150//151/ ударения по правилам свойственно преимущественно производным словам, акцентуация же

⁷ В более поздних работах по славянской и русской акцентологии [Garde 1976; 1978] Гард классифицирует морфемы как доминантные/недоминантные, сильные/слабые, отказываясь от системы установления абсолютной акцентной силы для каждой морфемы (ср. [Дыбо 1981]).

непроизводных (место ударения в исходной форме и тип акцентной кривой) — это элемент словарной информации⁸.

Акцентология становится все более развитой областью языкознания (хотя в имеющихся исследованиях не всегда различают морфонологический и собственно-фонологический подходы), и можно надеяться, что в дальнейшем акцентологические штудии на материале разных языков сделают возможной разработку достаточно убедительных типологических классификаций.

⁸ Против типологических принципов П. Гарда выступил Э. Станкевич [Phonologie der Gegenwart 1967: 43–44], и основное его возражение заключалось именно в том, что Гард не уделяет достаточного внимания различию между акцентуацией непроизводных и производных слов.

ОГЛАВЛЕНИЕ

<u>Введение</u>	483
<u>О месте морфонологии в лингвистическом описании</u>	483
<u>Элементы фонологии</u>	484
<u>Элементы морфологии</u>	490
<u>Глава I. Природа и функции морфонологических явлений</u>	494
<u>Глава II. Основной вариант морфемы</u>	515
<u>Глава III. Морфонологические правила</u>	536
<u>Глава IV. Наложение морфов</u>	556
<u>Глава V. Понятия субморфа и морфонемы</u>	566
<u>Субморф</u>	566
<u>Субморфы и интерфиксы</u>	569
<u>Морфонема</u>	578
<u>Глава VI. Просодическая морфонология</u>	586
<u>Глава VII. Морфонология морфемы, слова, предложения</u>	599
<u>Морфонология и цельность слова</u>	599
<u>Сингармонизм</u>	603
<u>Синтаксическая морфонология</u>	619
<u>Глава VIII. О морфонологической типологии языков</u>	626
<u>Литература</u>	635
<u>Предметный указатель</u>	635
<u>1. Термины</u>	Ошибка! Закладка не определена.
<u>2. Языки</u>	Ошибка! Закладка не определена.